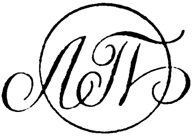
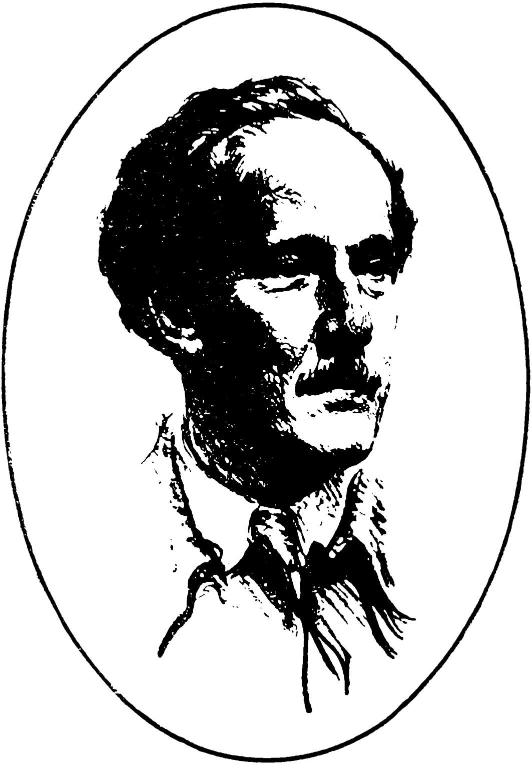
Мих. Осоргин

•

МЕМУАРНАЯ ПРОЗА





Мих. Осоргин

Литературные памятники Прикамья

Мих. Осоргин

●

МЕМУАРНАЯ ПРОЗА

Пермское книжное издательство
1992

ББК 84.Р1—4
О 75

Составление, предисловие и примечания
О. Г. Ласунского

Этот выпуск серии «Литературные памятники Прикамья» посвящен творчеству крупнейшего представителя русского литературного зарубежья Михаила Андреевича Осоргина (1878—1942). Уроженец города Перми, он во многих своих произведениях, написанных за границей, обращается памятью к годам детства и юности. Мемуарная проза М. А. Осоргина отличается тонким лиризмом, психологической глубиной разработки характеров, стилистическим своеобразием и беспредельной любовью к уральской земле.

$\text{О}\ \dfrac{4702010101—17}{\text{М}152(03)—92}\ 19—92$

ISBN 5-7625-0184-1

© О. Ласунский, 1992.
© Издательство «Пермская книга»
Составление, вступительная статья,
примечания, оформление. 1992.

КРЕСТНИК КАМЫ

1

Много знает могучий пермский край пристрастных описателей своих красот. И все же рискну предположить: едва ли кто в этом смысле выдержит соперничество с Михаилом Осоргиным — воистину патриотом и пламенным певцом Прикамья. Лучшие и самые целомудренные страницы его творчества посвящены неповторимому уральскому отечеству, триединому царству вод, лесов и гор.

Получилось так, что все эти страницы впервые прочли не земляки, для которых они, в сущности, предназначались, а «русские европейцы», тот пестрый беженский табор, что раскинулся после гражданской войны в России по всему Западу. И не в созидательной ли силе ностальгии кроется секрет удивительного постоянства и лирического темперамента, с какими писатель-изгнанник обращался к уральской теме? Ведь она была для него не просто данью моде (эмигрантские авторы любили предаваться воспоминаниям о минувшем), а естественным и потому неисчерпаемым источником вдохновенных образов.

Судьба М. А. Осоргина сложилась так, что ему пришлось поскитаться чуть ли не по всему свету. Но, в какой бы экзотической стране он ни оказывался, знакомые с детства ландшафты Прикамья не тускнели в его сознании. Может быть, даже напротив: чем дальше заносило пермяка от родных пенатов, тем ближе они ему становились. Неистребимая «память сердца» диктовала писателю свою волю, подсказывала сюжеты, нашептывала необходимые слова. Разбуженное тоской по дому воображение рисовало дорогие до мелочей пейзажи, которые на чужбине, даже в прекрасной Франции, особенно мучительно щемили душу.

Многие десятилетия имя Михаила Андреевича Осоргина, одного из самых ярких и самобытных представителей литературного русского зарубежья, находилось у нас в забвении: свирепейшая идеологическая цензура преградила путь на Восток вольной печати. Нас без спроса отлучили от всех духовно-нравственных богатств, созданных и накопленных соотечественниками за границей. И только недавно со скрежетом рухнул вконец проржавевший «железный занавес».

Возвращение М. А. Осоргина-писателя на родину началось. В Москве появилось несколько его книг, на столбцах столичных и провинциальных журналов — масса интереснейших публикаций. И вот первая пермская ласточка — сборник мемуарной прозы, выходящей в рамках популярной издательской серии.

Время, как водится, все расставило по своим местам, лишний раз продемонстрировав: никаким политическим режимам, даже самым авторитарным, не под силу спрятать от народа его духовные сокровища. Еще одно достойное во всех отношениях имя заносится отныне в земляческие литературные святцы.

Михаил Андреевич Осоргин родился в Перми 7 (19) октября 1878 года. В ту пору он был еще Ильин: псевдоним Осоргин (фамилия бабушки по отцу, проживавшей в Уфе) закрепится за ним позднее, с 1907 года. Родительский домик (на его месте был выстроен позднее каменный особняк) стоял на одном из перекрестков главной улицы губернского центра — бывшей Сибирской, переходившей за городской заставой в печально знаменитый тракт, по которому гнали в каторжные работы тысячи арестантов. С раннего возраста мальчик видел эти раздирающие сердце картины. И не тогда ли уже начал задавать себе вопросы о том, почему люди так жестоки друг к другу, почему наделенные властью стремятся унизить и поработить себе подобных, лишенных какой-то защиты?

Вся атмосфера семейной жизни поощряла Ильина-младшего размышлять над столь недетскими вопросами. Можно без преувеличения сказать, что ему крепко повезло с родителями, и неудивительно, что до последней своей минуты писатель оставался благодарным сыном. Фигуры отца и матери запечатлены в его произведениях нежнейшими красками.

Елена Александровна Ильина, мать М. А. Осоргина. Пермь

Андрей Федорович Ильин (предположительно 1833—1891), мелкопоместный потомственный дворянин, принадлежал к числу образованных и либерально мыслящих деятелей эпохи «русской весны». Он учился в Оренбургской гимназии, а в 1854—1858 годах — на юридическом факультете Казанского университета. Своекоштный студент окончил университет успешно, с ученой степенью кандидата по разряду камеральных наук. На заданную ему тему («Стеариновое производство в России») он представил письменное рассуждение, которое при рассмотрении было удостоено почетного отзыва. В Москве, у родственников М. А. Осоргина, до сих пор сохраняется выданный А. Ф. Ильину 16 июля 1858 года университетский диплом, подписанный за ректора деканом математического факультета статским советником и кавалером Петром Котельниковым и деканом юридического факультета ординарным профессором Е. Осокиным.

У Ильина было маленькое родовое имение вблизи Уфы, от него он отказался в пользу сестер и старой матери. В 1860-е годы отец писателя много занимался подготовкой и проведением крестьянской и судебной реформ, за что имел ордена, которые, впрочем, никогда не носил: ведь старался не из чиновных соображений, а сугубо по идейным убеждениям. В Перми Ильин-старший работал в окружном суде и имел репутацию строгого и неподкупного служителя Фемиды. Умер в Уфе, где и похоронен.

В Уфе же Андрей Федорович встретил свою нареченную — Елену Александровну Савину, бывшую варшавскую институтку. О романтической истории его любви вы прочтете в этой книге сами. Елена Александровна была глубоко интеллигентной женщиной, хорошо владела языками, отличалась кротостью и добротой, всецело отдавалась воспитанию детей. Скончалась в 1905 году и погребена на одном из пермских кладбищ.

У Михаила было два брата и три сестры (один из братьев умер в двухлетнем возрасте). Особенно задушевные отношения сложились со старшей сестрой Ольгой: разница между ними составляла семь лет. Она рано вышла замуж за инженера и уехала с ним в Москву. Натура незаурядная, цельная, О. А. Ильина-Разевиг вступила в жизнь во власти идеалов, унаследованных от родителей. Действительность оказалась гораздо суровее. Судьба сестры сложилась трудно и даже драматично, она умерла молодой, когда младший брат находился в итальянской эмиграции. М. А. Осоргин посвятил Ольге очерк «Сестра» (он включен в наш сборник) и беллетристическую «Повесть о сестре», вышедшую отдельным изданием в Париже (1931): в ней сильны автобиографические мотивы. Было бы, однако, бесполезной затеей сводить содержание книги к пересказу ситуаций, заимствованных из семейной хроники. Оно гораздо объемнее конкретной событийной канвы: ведь осоргинскому творчеству всегда свойственна высокая степень концентрации художественной энергии.

2

Отдельного разговора заслуживает брат Сергей, первенец супружеской четы Ильиных. Он был старше Михаила на десять лет. Окончив Казанский университет, Сергей Андреевич Ильин вернулся домой и стал заметной личностью в губернском обществе. Природа наградила его незаурядными музыкальным и литературным талантами.

Почти все семейство Ильиных было музыкально одаренным. Отец всегда что-нибудь мурлыкал под нос, мать хорошо пела (иногда по-польски). Михаил гимназистом третьего класса завел гармонию и, как сам вспоминает, играл на ней виртуозно. Он часто посещал любительские концерты и впоследствии с гордостью писал о Перми, прославившейся как самый музыкальный на всей Каме город: сюда даже приглашали на зимний сезон оперную труппу.

Михаил Осоргин
в детстве

Про брата М. А. Осоргин говорил, что тот был по-настоящему музыкален, немного играл на рояле и обладал прекрасным баритоном при абсолютном слухе. В Перми С. А. Ильин был хорошо известен как певец, хормейстер, бессменный староста местного музыкального кружка. Его сын, Алексей Сергеевич Ильин (1896—1943), пошел по отцовским стопам: окончил в Томске музтехникум (1930) и имел квалификацию пианиста-киноиллюстратора. Внучка С. А. Ильина, москвичка Маргарита Алексеевна Красюк (ее профессия — художник по костюмам), сберегла старинное пианино, на котором играли отец и дед.

Сергей Андреевич Ильин увлекался также литературой и журналистикой. Писать он начал еще в Пермской гимназии, а печататься, когда учился в выпускном классе. Любопытно, что именно так вышло потом и у Михаила: братнин пример оказался заразителен. В 1912 году пермская общественность отметила 25-летие литературной и газетной деятельности С. А. Ильина. Ему было только сорок четыре года. А вскоре он скончался. Во всяком случае, когда М. А. Осоргин осенью 1916 года навестил родные места (в качестве корреспондента московских «Русских ведомостей»), он уже не застал брата в живых.

Творческое наследие С. А. Ильина краеведами практически не собрано и не изучено. А между тем оно, по всему, достаточно интересно: Сергей Андреевич был способным поэтом и критиком. Его стихотворные фельетоны, театральные и музыкальные рецензии украшали страницы пермской периодики конца XIX — начала XX века.

Нам пока мало известно о взаимоотношениях братьев после того, как Михаил в 1897 году уехал в Москву поступать в университет. Сергей смолоду подавал большие надежды. Не все они, увы, оправдались. Может быть, в этом отчасти кроется причина того, что в своих мемуарных произведениях М. А. Осоргин почти не уделяет внимания брату.

Но есть и факт иного рода. В течение всей своей кочевой жизни М. А. Осоргин как некую реликвию хранил в архиве один из первых художественных опытов Сергея — поэму-балладу «Песня о ныробском узнике», на которой была весьма одобрительная пометка какого-то гимназического наставника.

В приложении к данному сборнику читатель найдет это произведение. В нем довольно картинно изображается примечательный эпизод из отечественной истории, непосредственно связанный с пермщиной. На композицию и стиль поэмы заметное влияние оказали рылеевские и лермонтовские традиции. Помимо определенных эстетических достоинств, «Песня» обладает очевидной познавательной ценностью и может увлечь своим сюжетом поклонников старины. Она свидетельствует о хорошем знакомстве автора с этнографическими источниками, областными говорами, уральским фольклором. Публикация «Песни о ныробском узнике» в нашей книге является своеобразным памятником в честь забытого деятеля провинциальной культуры.

Мать сама подготовила Михаила к поступлению в мужскую классическую гимназию, где он учился с осени 1888 года. Науки давались отроку легко: он шел в гимназии третьим учеником. У начальства и среди товарищей пользовался авторитетом как выразительный чтец-декламатор. Однако сам М. А. Осоргин относился к тогдашней системе преподавания и способностям педагогов более чем скептически. Особенно возмущало его стремление ограничить изучение курса истории русской изящной словесности Гоголем: вся новейшая литература изымалась из учебной программы. Приходилось восполнять этот пробел за счет самообразования.

Грамотой Михаил овладел, когда ему было всего пять лет. С той поры и стал «пожирателем» книг — до конца своих дней. К девяти годам прочел «Семейную хронику» С. Т. Аксакова и был пленен чистотой и прозрачностью его слога. К этому мастеру писатель испытывал всегда особый пиетет. Объясняется это отчасти и тем, что отец, Андрей Федорович, находился с Аксаковыми в дальнем родстве и знал многих лиц из аксаковского окружения.

Уже в гимназическую пору М. А. Осоргин познакомился с творчеством Тургенева, Гончарова, Достоевского, Шекспира, Диккенса, с критическими статьями Белинского, Писарева, Добролюбова. Кумиром на всю жизнь остался Лев Толстой с его непостижимо глубо-

Михаил Осоргин — ученик Пермской гимназии

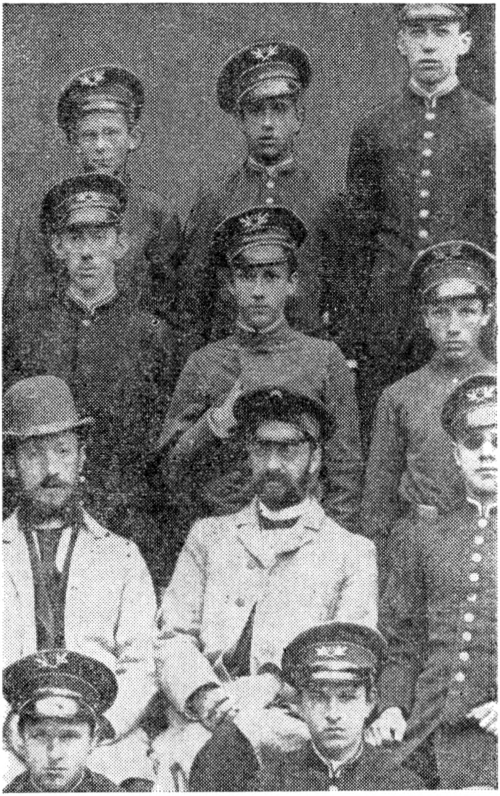
ким психологизмом, самобытной стилистической манерой и неустанными поисками истины. Эстетические вкусы сформировались у М. А. Осоргина рано. Увлеченный книгочей, он стал еще и книголюбом: эта страсть к печатному слову, проснувшаяся в школьные годы, позднее переросла в библиофильство, в «книгоедство» и подарила читателям множество великолепных эссе.

После смерти отца сильно поредевшее семейство Ильиных (брат учился в Казани, две замужние сестры покинули Пермь) переехало в маленькую квартиру. Материальное положение заметно ухудшилось. Гимназистом - семиклассником Михаил вынужден был заниматься репетиторством. Тогда же он познал впервые сладость авторства. В «Пермских губернских ведомостях от 19 марта 1896 года появился некролог о классном надзирателе, а в петербургском «Журнале для всех» (1896, № 5) рассказ «Отец» — под псевдонимом М. Пермяк. Рассказ был, конечно, слабым, с большим налетом мелодраматизма, и М. А. Осоргин впоследствии предпочитал о нем всерьез не вспоминать. С немалой долей иронии расскажет он и о своей попытке сочинить роман — он, кажется, так и не был завершен. Только тридцать лет спустя появится в свет первый роман М. А. Осоргина, и это будет его самое значительное произведение — «Сивцев Вражек». Но, как бы то ни было, важно, что начальные, робкие шаги на тернистом литературном поприще сделаны М. А. Осоргиным на милой пермской земле.

Мощным творческим импульсом, пробудившим дремавшее в душе ребенка чувство прекрасного, стала и дивная уральская природа. Интерес к ней заронил еще отец, который увлекался собиранием растений и цветов, был заядлым грибником, вместе с младшим сыном оформлял гербарий. В осоргинских текстах неизменно поражает тончайшее знание флоры, умение заглянуть в ее таинственный мир. Однажды из-под пера писателя выпорхнул восхитительный рассказ о том, как вырастает куст чайной розы. После такого рассказа любой неисправимый горожанин может оставить свое асфальтовое благополучие и стремглав броситься в объятия природы.

В Сент - Женевьев - де - Буа, под Парижем, у М. А. Осоргина был крохотный садовый участок, где он копался на грядках и наслаждался жизнью «без злобы, моторов, политики и удушливых газов», то есть всех прелестей так называемой цивилизации. Еще за несколько лет до покупки участка М. А. Осоргин систематически вел свои «огородные записи», которые и составили занимательную книгу «Происшествия зеленого мира» (София, 1938), — как бы гимн живородящей земле, поэму, воспевающую жучков, букашек и иных травяных обитателей. Автор не употреблял расхожего нынче словечка «экология», но М. А. Осоргина не колеблясь следует поставить в ряд тех, кто еще тогда предупреждал о грозящей планете катастрофе и призывал оберегать гармонию окружающей среды.

Истоки природолюбческой темы у М. А. Осоргина уходят в его золотую пермскую пору, когда он совершал в одиночку на своей лодочке путешествия по стальной глади Камы. Река детства стала для него своеобразным идолом, которому он, как язычник, поклонялся. М. А. Осоргин так и не смирился с ученой аксиомой, согласно которой в Каспийское море впадает Волга. Нет, утверждал он не раз полушутя-полусерьезно, впадает как раз Кама, ибо это в нее близ Казани втекает Волга. Не раз писатель признавался: с величавой Камой связано в его памяти все лучшее, что было в жизни, она — его крестная мать. «И мое семя вы-



Михаил Осоргин (в центре) среди учащихся Пермской гимназии. Фрагмент групповой фотографии черпано с илом со дна реки Камы, и потому я северянин, блондин, всебожник, поэт, анархист и старовер»». Бесконечно трогательна такая преданность малой родине. Не эта ли привязанность к дорогому с младенчества уральскому краю помогла выстоять «русскому европейцу» во всех его бедах!?

М. А. Осоргину был свойствен стихийный пантеизм, без какой-либо мистической примеси. В природе, считал он, растворена некая целительная духовная основа, и благодаря ей можно постараться преодолеть раздоры меж «двуногими»: ведь все они дети одной матери — земли и одного отца — солнца! Он по-художнически боготворил все, что тянулось из почвы вверх — от хрупкого стебелька до могучего древесного ствола...

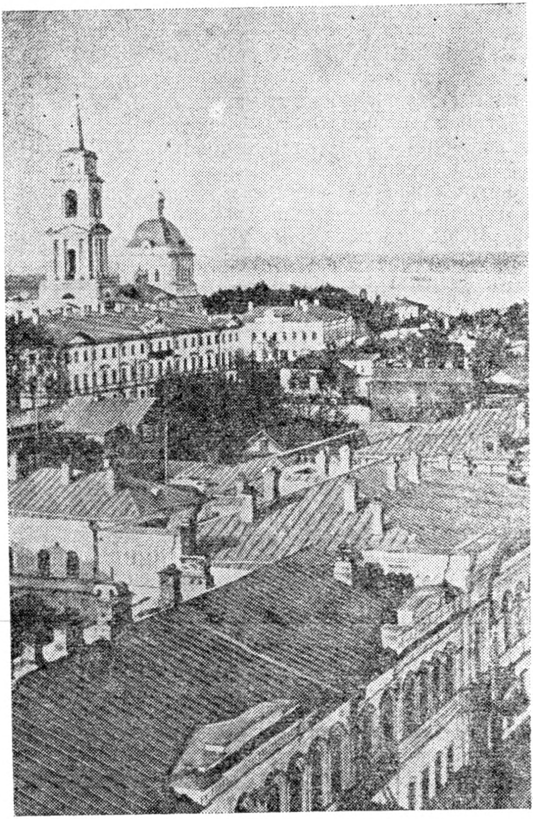
М. А. Осоргин считал себя «простым, срединным, провинциальным русским человеком», и эта мысль весьма многозначительна. То обстоятельство, что будущий писатель вышел из российской глубинки, имело немалые последствия. Навсегда он сохранил сочувствие и даже нежность к угловатой фигуре интеллигента-провинциала, который, не тратя лишних слов, изо дня в день распахивал окаменевшую духовную ниву. И позже, когда пермяк окажется в первопрестольной, а затем станет попирать подошвами башмаков европейские мостовые, — и тогда он не изменит своим прежним симпатиям. Разноликая губернско-уездная реальность обрисована в произведениях М. А. Осоргина сочными мазками. Думается, и сам характер его общественного и эстетического мышления в немалой степени предопределен знанием провинциальной действительности и пониманием ее роли. Не имея прочных связей в столичных кругах, опираясь исключительно на собственный житейский опыт, М. А. Осоргин выковал в себе миросозерцание демократа, который предпочитает материальному достатку роскошь внутренней свободы. М. А. Осоргин и сам был подлинным тружеником, добывая пером средства для пропитания. Он превыше всего ставил право личности на вольный полет мысли, не скованной предрассудками. В Москву уехал с Урала не просто тихий провинциальный юноша, но человек со сложившимися принципами, убежденный враг сословных, расовых, религиозных и иных условностей.

М. А. Осоргин

...Итак, в 1897 году окончена гимназия, и Михаил, выполняя материнское пожелание, поступает в Московский университет на юридический факультет. На камские брега студент Ильин приезжал частенько: на вакации, на большие праздники и обязательно — под Новый год. Из-за молодежных волнений университет был одно время надолго закрыт, а его питомцев распустили по домам.

В Перми юноша отнюдь не благодушествовал: даже грошовые гонорары не были излишни для тощего кошелька. Да и сама литературная работа не потеряла для будущего адвоката своей прелести, пожалуй, наоборот. Он не брезговал никаким жанром: писал для местных «Губернских ведомостей» фельетоны, хронику, передовицы. Материалы шли анонимно, а иногда под псевдонимами: М. И-нъ, Студ. М. И., Пермяк, М. И. Полный реестр публикаций в газете еще не составлен, и этим должны заняться краеведы-библиографы. Именно тут, в редакции «Пермских губернских ведомостей», произошла встреча с беcприходным попом — отцом Яковом (Шестаковым), странствующим историком, этнографом, издателем, личностью настолько колоритной, что М. А. Осоргин потом воспользуется ею для создания сквозного персонажа, с помощью которого фабульно сцепит два романа — «Свидетель истории» (Париж, 1932) и «Книга о концах» (Берлин, 1935).

С провинциальной прессой М. А. Осоргин был связан тесно. В автобиографии, предназначенной для юбилейного сборника «Русских ведомостей» (1913), он отмечал: «Долгое время постоянно сотрудничал в уральских газетах...» Но пока известно только то, что, кроме «Губернских ведомостей», М. А. Осоргин помещал свои статьи в «Камском крае» (Пермь, 1907) и «Пермской



Вид на кафедральный собор в Перми. Фотография начала XX в.

земской неделе» (1917). А ведь наверняка было и что-то другое.

...После получения диплома (1902) М. А. Осоргину довелось побывать в родном городе, кажется, лишь дважды. Последний раз это произошло осенью 1916 года, когда корреспондент «Русских ведомостей» по заданию редакции совершал поездку по северо-восточным губерниям страны. В те дни состоялось открытие Пермского отделения Петроградского университета, на котором с торжественной речью выступил прибывший с берегов Невы ректор профессор Э. Д. Гримм. Гостей приятно поразили учебные здания, выстроенные сравнительно недавно на средства миллионера-пароходчика Н. В. Мешкова, — он прославился своей благотворительностью на пользу местного просвещения и... на революционные нужды. М. А. Осоргин осматривал корпуса, получил объяснения от самого Н. В. Мешкова. Репортажи об учреждении первого на Урале университета появились вскоре в «Русских ведомостях» (1916, 14 и 16 октября).

В тот визит Михаил Андреевич повидался с некоторыми прежними знакомыми, бродил по улицам детства, не утерпел заглянуть в гимназию, которая попортила ему столько крови, наведался в губернский музей (в его фондах обнаружена недавно запись М. А. Осоргина в книге почетных посетителей). Из Перми он направился в Уфу, где родился и нашел вечное успокоение его отец.

С того времени уральские ландшафты являлись М. А. Осоргину разве что во сне или в воображении: видеть их наяву больше не привелось. Но никакие превратности судьбины не способны были затмить в благодарной памяти образ Камы. М. А. Осоргин навсегда остался ревностнейшим патриотом своего замечательного края.

4

Но вернемся к студенческим годам нашего героя. Позднее он поведает об отчаянно счастливой поре молодости со сходками, петициями, смелыми речами, а в промежутках — с заботами о хлебе насущном.

Приход М. А. Осоргина в революцию был неизбежен. Прежнее фрондерство сменилось сознательной конспиративной работой в пользу партии социалистов-революционеров. На даче у начинающего адвоката содержался шрифт для нелегальной типографии, писались и редактировались крамольные воззвания. Там же хозяин укрывал крупного террориста, которого разыскивала охранка.

Примкнув к партии эсеров, М. А. Осоргин никогда не занимал в ней видного положения, да и не мог занять по той простой причине, что не выносил демагогии и не проявлял никакого почтения к «партийному генералитету». М. А. Осоргину неизменно ближе были рядовые участники подполья, чем его вожди.

Революцию 1905—1907 годов М. А. Осоргин называл героической и считал ее чисто интеллигентской. Однако ставку на террор не одобрял, а боевиков, жертвующих собою во имя высших идейных побуждений, воспринимал как трагическую необходимость. В декабрьских событиях 1905 года М. А. Осоргин непосредственного участия не принимал — и это его спасло (впрочем, в саму подготовку вооруженного восстания был вовлечен).

Позднее, в 1911 году, М. А. Осоргин печатно объявил о своем внутреннем отходе от общего партийного течения. На Западе уклонялся от всяческой политической деятельности, на собраниях не бывал, хотя дружеские отношения со многими эсерами сохранил. М. А. Осоргин по натуре не был «человеком партии». Любая кастовая дисциплина его морально корежила, коллективность с ее строгой иерархией — угнетала. Он предпочитал оставаться мечтателем-одиночкой, как и некоторые другие «кавалеры осмеянного ордена русских интеллигентных чудаков». Слишком развито было в нем чувство независимости, чтобы оно сумело ужиться с принадлежностью к какой-нибудь партии.

Тогда, в декабре 1905 года, он все-таки пострадал. Все вышло как-то нелепо: его спутали с однофамильцем, арестовали, посадили на полгода в Таганку. Следователь даже намеревался подвести своего подопечного под статью, грозящую смертной казнью. Недоразумение, однако, выяснилось, один из свидетелей от своих

Ольга Андреевна Ильина (в замужестве Разевиг), старшая сестра М. А. Осоргина. Пермь

показаний отрекся, и, пока тянулась ведомственная распря между административными и судебными властями, заключенный был отпущен под денежный залог. Опасаясь новых полицейских преследований, М. А. Осоргин вскоре тайно покинул Москву и отбыл в Финляндию, а оттуда в Европу — через Данию, Германию, Швейцарию к Средиземному морю.

Мать арестанта, Елена Александровна Ильина, узнав, что над сыном сгустились тучи, не вынесла такого потрясения, окончательно слегла и вскоре умерла.

Оказавшись в эмиграции, М. А. Осоргин предпочел жить в Италии — свободнейшей стране, где не было смертной казни, где к революционерам из России относились с подчеркнутым уважением. М. А. Осоргин обосновался в Риме, откуда совершал поездки в разные провинции и дважды — в славянские земли на Балканах (Болгария, Черногория, Сербия).

Уралец всей душой привязался к Италии и щедро отплатил ей за то, что она приютила и обогрела. В сборнике «Там, где был счастлив» (Париж, 1928) половина рассказов посвящена Италии. И само непритязательное название книги — словно прощальный поклон благословенному уголку земли.

Начало первой мировой войны изолировало эту нейтральную страну. Прервался поток русских путешественников, которых привык опекать римский старожил. Тоска по России заставила М. А. Осоргина добровольно вернуться на родину, хотя сделать это было нелегко. Минуя втянутые в военный конфликт державы, кружным путем через Париж, Лондон, Христианию (Осло), Стокгольм эмигрант летом 1916 года добрался до отечества. Полицейские чины еще числили М. А. Осоргина в государственных преступниках, но не проявляли былого усердия: на дворе стояла уже иная погода. Да и думские друзья заранее похлопотали о том, чтоб его не задержали на границе.

Февраль 1917 года стал вершинной точкой в судьбе М. А. Осоргина, который был буквально опьянен сознанием общественных свобод. Россия вступила в семью цивилизованных стран, под сень законности. Но если февральскую революцию М. А. Осоргин встретил с восторгом и принял безоговорочно, то неожиданный переворот в октябре и, главное, его последствия он категорически для себя отверг. И не нужно видеть здесь двоедушия; напротив, было бы странно, если бы он отнесся к октябрю иначе. Большевизм принес с собой организованное насилие и быстро превратился в заурядный «режим», а бунтарю и идеалисту М. А. Осоргину было несносно и неприемлемо любое правительство, если оно возникло без учета общенародного волеизъявления: «Взявший власть — уже враг революции, ее убийца...»

Еще далеко было до жутких сталинских концлагерей, но и тогда Таганки, Бутырки, Кресты и прочие каменные мешки, доставшиеся в наследство от проклятого царизма, заполнялись новыми узниками с какой-то лихорадочной поспешностью. А слово «Лубянка» стало вскоре мрачным символом советской Бастилии. Надо ли распространяться о том, что М. А. Осоргину, «человеку мягкой и тонкой души» (по выражению Бориса Зайцева), было очень неудобно при диктатуре пролетариата? Он по привычке своих взглядов не скрывал, наивно полагая, что за убеждения наказывать нельзя.

От тяжких дум избавление — только в работе. Неуемная жажда деятельности постоянно толкала М. А. Осоргина в эпицентр разнообразных дел. Вместе с профессором Н. А. Бердяевым он избран вице-председателем Всероссийского союза писателей, возникшего из среды московского писательского клуба... Во Всероссийском союзе журналистов М. А. Осоргин был председателем, и это отнюдь не случайно: он пользовался репутацией первоклассного публициста. М. А. Осоргин пытался, по мере сил, защитить молодую социалистическую прессу от произвола идеологической цензуры...

В холодной и голодной Москве 1918 года независимым писателям не оставалось ничего иного, как учредить кооперативную книжную лавку, где они сами были продавцами. Кое-какие средства приносили и спектакли «Принцессы Турандот». Пьесу итальянского драматурга Карло Гоцци М. А. Осоргин по просьбе режиссера Е. Б. Вахтангова перевел в 1921 году. Это принесло ему известность — благодаря знаменитой постановке трагикомической сказки на сцене вахтанговского театра.

5

Особого разговора заслуживает тема, связанная с участием М. А. Осоргина в оказании помощи голодающим Поволжья в 1921 году.

История подавления гражданских инициатив, призванных спасти от гибели миллионы русских крестьян, — одна из постыдных страниц нашего прошлого. Решением центральных властей была создана государственная Комиссия помощи голодающим (Помгол) — и лишь она обладала монополией на организацию всей работы. Сперва начальство наложило запрет на соответствующие комиссии, открытые церковью. Потом дошла очередь и до Всероссийского комитета, возникшего при посредничестве и содействии М. Горького. Комитет успел многое сделать, за что, собственно, и последовала расправа: даже в гуманитарной области режим боялся соперничества с интеллигенцией, страшась потерять свое влияние в низах.

Теперь в это трудно поверить: все члены общественного комитета, созданного с благороднейшей целью, были арестованы и отправлены в Лубянскую тюрьму. От расстрела избавило заступничество легендарного норвежца Фритьофа Нансена. После двух с половиной месяцев отсидки М. А. Осоргин отделался ссылкой в Краснококшайск (ныне Йошкар-Ола), замененной по нездоровью Казанью.

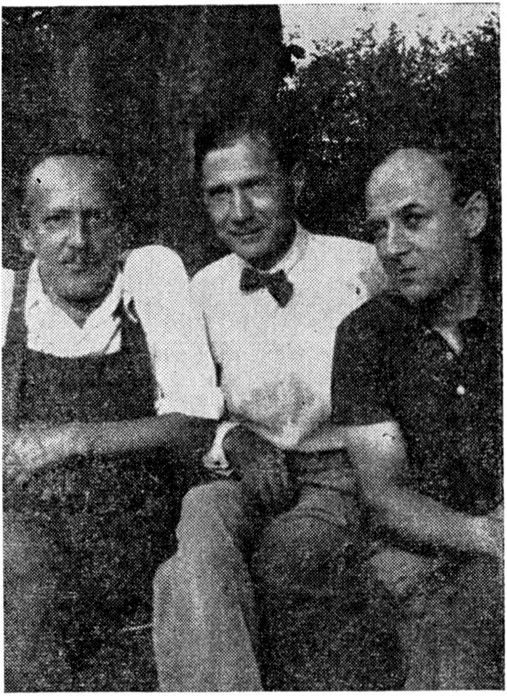
С московской чека М. А. Осоргину довелось познакомиться еще раньше — в декабре 1919 года. Он был задержан (вероятно, по ошибке) и несколько дней провел в специальной камере для смертников. Невольнику Лубянки эти впечатления пригодились позже для романа «Сивцев Вражек».

После суровой казанской зимы М. А. Осоргина возвратили в Москву. Он намеревался продолжить работу над рукописью эпического полотна о современности. Этим планам не суждено было свершиться: в сентябре 1922 года М. А. Осоргин был выслан за рубеж в составе большой группы русской научной и творческой интеллигенции.

Потрясенные насильственной разлукой с родиной, пассажиры «философского парохода» (среди них было немало членов бердяевского кружка) не могли и представить, каким благом обернется для них высылка из страны. Ведь казавшаяся им безмерно жестокой карательная акция уберегла их от неминуемых сталинских застенков. Нетрудно догадаться, что стало бы с М. А. Осоргиным, останься он в России. Воображение отказывается видеть его литературным холуем. Пропеть Сталину осанну он не смог бы даже под пытками. Значит — гибель, чекистская пуля в затылок. Ее и получили многие товарищи М. А. Осоргина, которым «посчастливилось» избежать высылки.

...Отношения М. А. Осоргина с эмиграцией сложились непросто. Иными они не могли быть: писатель и здесь выламывался из быстро отвердевавших стандартов бытия. Привычка не сливаться с общим потоком, защищать свою свободу от покушений извне, привычка с иронией смотреть вокруг, высмеивая где бы то ни было догматизм и узколобое чванство, — эти привычки он не утратил и в новых условиях. М. А. Осоргин так и не ««вывернулся наизнанку» (как он сказал об одном из соизгнанников), остался самим собой.

М. А. Осоргин не считал себя эмигрантом. Как Н. А. Бердяев или Н. О. Лосский, неизменно и настойчиво подчеркивал, что он не добровольно эмигрировал, но грубо выдворен. Разумеется, это решительно ничего не меняло в положении М. А. Осоргина. Печататься приходилось в одних и тех же изданиях (понятно, только в «левых»), участь делить тоже общую. Пришлось отказаться и от прежнего паспорта после того, как в январе 1937 года в советском консульстве



М. А. Осоргин, Е. И. Замятин, Ю. П. Анненков. Сент-Женевьев-де-Буа

М. А. Осоргину было заявлено, что он, мол, «не в линии...». Писатель никогда и ни у кого не спрашивал, какой «линии» ему держаться. Гордость не позволила ему больше переступить консульский порог. Ни с какой властью он не хотел примиряться, тем паче с той, которая устроила собственному народу грандиозное кровопускание. Для М. А. Осоргина гитлеризм и большевизм — родные братья, тоталитарные системы, отличающиеся вопиющей нетерпимостью к оппозиции. И гитлеризм, и большевизм были в его глазах угрозой демократическим институтам Европы.

...В 1940 году более или менее налаженный быт (с осени 1923 года М. А. Осоргин жил в Париже) был нарушен фашистским нашествием. В июне пришлось покинуть французскую столицу: иначе неминуем арест. У гитлеровцев заранее имелись перечни неблагонадежных лиц из состава русской колонии. Квартира вскоре была обыскана и разграблена, библиотека и громадный архив исчезли.

М. А. Осоргин перебрался в небольшой городок свободной зоны — Шабри. Он стоял на реке Шер, которая служила естественной демаркационной полосой: на мосту и на другом берегу слышалась немецкая речь. Ослабевший М. А. Осоргин, в перерывах между сердечными приступами, продолжал стучать на машинке, и ему было стыдно жить на свете, потому что «новый европейский порядок» сильно смахивал на средневековье.

Для газеты «Новое русское слово» (Нью-Йорк) М. А. Осоргин ведет своеобразный репортаж о житье в Шабри — «В тихом местечке Франции». Позднее эти корреспонденции составят отдельную книгу (Париж, 1946). Другой осоргинский цикл в той же газете — «Письма о незначительном» — также будет издан сборником (Нью-Йорк, 1952) с предисловием Марка Алданова. Автор смело обличал германский расизм и уже в августе 1941 года пророчил крах Третьего рейха и русскую победу.

27 ноября 1942 года изношенное тюрьмами, скитальчеством и изнурительным трудом сердце не выдержало нагрузки и остановилось. То был последний осоргинский бунт против земной юдоли, где человек —

«кровожаднейшее из животных». Писатель там и похоронен — в уютном, одноэтажном городке Шабри, что в двухстах тридцати километрах к югу от Парижа, приблизительно на линии Тур — Вьерзон. На могиле стоит серый камень, и фамилия усопшего высечена на двух языках — русском и французском.

6

Хотя к моменту изгнания из страны М. А. Осоргин уже был автором нескольких книг и сотен статей, сам он как человек требовательный к себе относил начало своей литературной деятельности к зарубежному периоду и связывал его прежде всего с работой над романом «Сивцев Вражек». Произведение имело по тому времени успех чрезвычайный: оно выдержало в Париже подряд два издания (1928, 1929), тогда же появилось в переводах на многие иностранные языки, а в США даже получило специальную премию (1930).

«Сивцев Вражек» дает читателю шанс непредвзятого разговора об изменивших лик России событиях февраля и октября 1917 года. Понимая необратимость свершившегося, не находя разумной альтернативы революционному процессу как таковому, романист старается объективно раскрыть трагическую коллизию Октября, ориентированного изначально на идеи принуждения и единомыслия. М. А. Осоргину была очевидна абсурдность того положения, когда слепая, темная сила, не желая подумать о результатах своих разрушительных действий, подталкиваемая идеологическими поводырями, ломала сложившиеся веками общечеловеческие нравственные устои. Чем закончилась попытка заменить их критериями классового подхода, откровенно политизированной этикой, мы теперь знаем: до сих пор рубцы на душе не заросли. Роман М. А. Осоргина пронизан добрым светом гуманизма, почти физической болью за мелкую людскую суету и взаимную вражду.

В «Повести о сестре» многоцветная действительность показана в чеховском ключе: не в ее резких, порой кричащих красках, а в пастельных полутонах повседневности. Действие движут не экзотические персонажи, а обыкновенные люди с их естественными

Главы и колокольня Петропавловского собора в Перми. Фотография конца XIX в.

поступками, чаяниями, страстями. Автору удалось раскрыть драматизм не катастрофических социальных изломов, а мимотекущей жизни. Перед нами — история одной женской судьбы, отмеченной печатью идейных и моральных исканий.

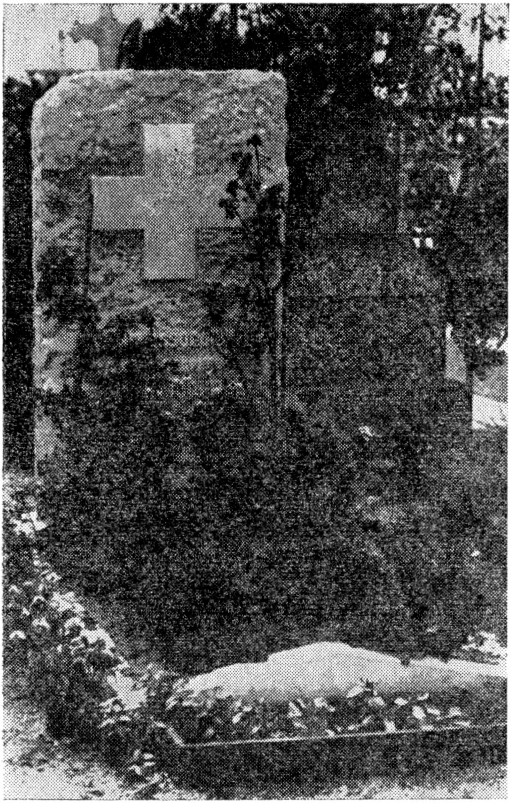
В дилогии «Свидетель истории» и «Книга о концах» рассказывается о полной риска и лишений деятельности боевиков-максималистов в период первой русской революции. Весь обширный запас жизненных наблюдений пригодился М. А. Осоргину, чтоб осветить эту непривычную для отечественной литературы тему. Столь же неординарной по своему сюжету была и повесть «Вольный каменщик» (Париж, 1937), где выведен образ казанского чиновника Тетехина, который, оказавшись во Франции, принят в масонскую ложу и постигает то новое, что открылось его сознанию и душе.

Говоря о творческом феномене М. А. Осоргина, нельзя не коснуться его заслуг в стилистической сфере. Языковая плоть его произведений совершенна. Осоргинская речь весьма своеобычна и способна послужить ценным сырьем для любой лингвистической лаборатории. Писатель очень боялся утратить на чужбине накопленные ранее кладовые языка, поэтому приходилось пополнять их за счет старых книг. М. А. Осоргину вообще нравилась игра со словом, его привлекали дерзкие языковые эксперименты. Из желания проверить себя (да еще из неослабного интереса к прошлому России) родилась целая книга исторических рассказов — «Повесть о некоей девице» (Таллинн, 1938). В нашем сборнике представлен один из них.

Уже после смерти М. А. Осоргина вышла в свет книга, законченная в Шабри и ценимая автором более других, — «Времена» (Париж, 1955). Ее действительно можно отнести к шедеврам отечественной мемуаристики. Собственно, это — не автобиографическое повествование, а скорее — портрет эпохи со всеми ее противоречиями. И на таком широком фоне — хроника духовного становления и взросления юного провинциала, брошенного в пучину революционного хаоса. В книге подкупает интонация естественности: никакой вычурности, никаких претензий на оригинальность — зато бездна вкуса, гармония слова и смысла. Уверен: «Временам» не грозит участь затеряться среди несметных записок очевидца. Осоргинская книга войдет (если уже не вошла) в избранную «золотую библиотеку» русской мемуарной прозы. Для земляков автора «Времена» привлекательны вдвойне: ведь там рассыпана масса драгоценных сведений о старой Перми.

М. А. Осоргину принадлежит также множество этюдов из его личного прошлого — они вполне самостоятельны. Поразительно: минувшее ничуть не тяготит мемуариста, который рассказывает о нем не без удовольствия. Так способен воспринимать свою прожитую жизнь лишь тот, кому нечего в ней стыдиться, для кого она есть его лучшее произведение.

Для мемуарной прозы М. А. Осоргина важны не столько события, сколько их импрессионистический след в сознании. Сам автор утверждает: в его воспоминаниях нет гравюрной отчетливости, они скорее — прозрачные акварели. М. А. Осоргин хочет восстановить в памяти свои ощущения, настроения, впечатления:



Могила М. А. Осоргина в Шабри (Франция)

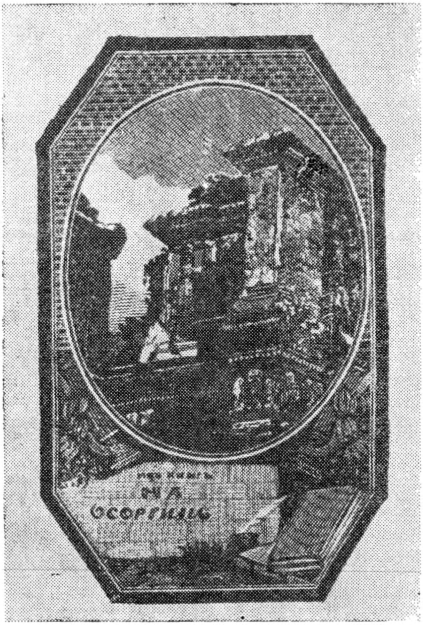
ведь, по его мнению, «иная мимолетная встреча кажется ценнее обстоятельно описанного события». В этюдах интересны не одни герои, но и автор — тоже, с его мягкой, добродушной улыбкой, цепким взглядом, эмоциональным задором.

Дотошные историки-буквоеды, вероятно, найдут в публикуемых ниже осоргинских произведениях какие-то неточности, несоответствия с реальными обстоятельствами, может быть, даже поэтический вымысел в мелочах. Но ведь эти произведения созданы лирически взволнованным писателем, а вовсе не сухарем-документалистом. Это — во-первых. А во-вторых, давайте не будем забывать, что автор, находясь вдали от родины, не в состоянии был себя всякий раз перепроверять. И потому отнесемся снисходительно к возможным оплошностям памяти. Тем более, что пермские факты у М. А. Осоргина примечательны не только сами по себе, но и тем неизмеримо художественным изяществом, с которым они преподнесены. Осоргинскую мемуарную прозу следует рассматривать не просто как источник дополнительной краеведческой информации, а еще и как блистательный образец самого жанра.

В предлагаемых читателю этюдах, написанных в разное время и под разным настроением, встречаются кое-какие повторы. Это неизбежно. Имеем ли мы право упрекать автора за то, что его мысль нередко возвращалась к одним и тем же мотивам детства и юности? Да и можно ли было «русскому парижанину» лишь единожды потревожить родительские тени, если его внутренний взор постоянно обращался к минувшему? Это касается и других персонажей. Мне даже кажется: благодаря невольным сюжетным повторам общая картина пермской жизни приобретает под пером М. А. Осоргина особую объемность и многоцветность.

...Талант М. А. Осоргина раскрылся полностью на чужбине. В том нет его вины. Полжизни он провел за пределами отечества. Русский человек на перекрестках Европы! Это не М. А. Осоргин отверг Родину, она отвернулась тогда от него. И теперь с покаянием принимает в свое материнское лоно.

Уроки М. А. Осоргина поучительны, их еще пред-

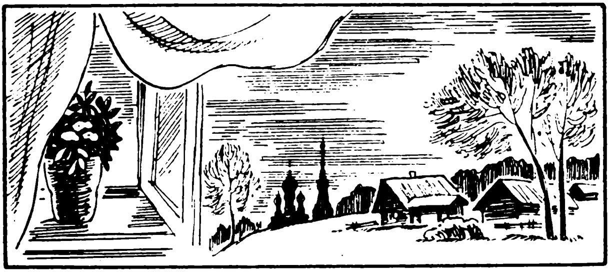

МА
ОСОРГИНА

Экслибрис М. А. Осоргина. Худ. И. Н. Павлов. Москва. Ксилография. Начало 1920-х гг.

стоит извлечь и осмыслить. Но и сейчас можно сказать: едва ли не главный из них — в том, что истинный писатель способен выразить себя исключительно тогда, когда вступает в нелицеприятный спор с эпохой, когда не преклоняет головы перед идеологическими твердынями, полагая свою внутреннюю свободу гораздо дороже самого существования.

Золотоносная уральская жила мощно заявила о себе творчеством Михаила Андреевича Осоргина. Во глубине России, на стыке Европы и Азии, родился художник слова, крещенный в камской купели. И пусть же эта первая пермская книга писателя будет символическим венком на далекую могилу земляка!

Олег ЛАСУНСКИЙ



ЗЕМЛЯ

I

Заботами милого друга я получил из России небольшую шкатулку карельской березы, наполненную землей.

Я принадлежу к людям, любящим вещи, не стыдящимся чувств и не боящимся кривых усмешек. Было и давно прошло время, когда эти усмешки меня смущали. В молодости это простительно и понятно: в молодости мы хотим быть самоуверенными, разумными и жестокими — резко отвечать на обиду, владеть своим лицом, сдерживать дрожь сердечную. Но тягость лет побеждает, и строгая выдержанность чувств уже не кажется лучшим и главнейшим. Вот сейчас, таков, как я есмь, я готов и могу преклонить колени перед коробочкой с русской землей и сказать вслух, не боясь чужих ушей:

— Я тебя люблю, земля, меня родившая, и признаю тебя моей величайшей святыней.

И никакая скептическая философия, никакой умный космополитизм не заставят меня устыдиться моей чувствительности, потому что руководит мною любовь, а она не подчинена разуму и расчету.

Земля в коробке высохла и превратилась в комочки бурой пыли. Я пересыпаю ее заботливо и осторожно, чтобы не распылить зря по столу, и думаю о том, что из всех вещей человека земля всегда была самой любимой и близкой:

«Ибо прах ты — и в прах обратишься»[1].

* * *

Ранней весной снежная пелена мокреет, покрывается хрупкой стеклянной корочкой, а из водосточных труб свисают сосульки. Потом в очень солнечный день из-под снега показывается земля: в городе — раньше, в деревне — позже. Дороги слякотны и навозны, и полозья саней сквозь грязное мороженое чиркают по камням мостовой. Дворник по лестнице забирается на крышу, мимо окна падают полные лопаты снега, а прохожий обходит дом, чтобы не попало ему за шиворот. Затем случается одна странная ночь с теплым ливнем — и наутро люди, шлепая по лужам, объявляют друг другу замечательную новость:

— Весна?

— Весна!

— Как сразу все стаяло!

— В одну ночь!

Это не очень верно, потому что весна пришла раньше и давно уже топила снег, только она была в шубе — не так заметно.

Широкой полосой от морей надвигалось на нас солнце. Зарождалось оно, тусклым и маленьким, где-то в Европах (одним словом, не у нас), а к нам, к Уральским нашим горам, приплывало огромным, теплым и ароматным. Где оно шло, светлым хвостом сметая последний снег, там просыпалась и нежилась черная и жирная земля, а проснувшись — сразу за работу.

И тогда отец говорил:

— Ну, Мышка, хочешь со мной цветы пересаживать?

Мышку об этом излишне спрашивать, разве что так, шутя.

День воскресный, свободный. С утра принесли несколько ящиков черной земли, хоть и влажной, а сыпучей.

Сада у нас при доме нет, — да еще и рано высаживать цветы на вольный воздух: весна, она — коварная, может невзначай хватить морозом. Но есть у нас при квартире большая и светлая комната, в три света, где много растений, и наших, здешних, и чужих, иноземных. Наш маленький зимний сад. Есть в нем даже пальмы, есть лимон, есть несколько кактусов, есть фикус эластикус, длинный и тощий, на блестящих листьях которого очень хочется что-нибудь написать иголкой. Напишешь — так и останется, зарубцуется на всю зиму.

И отец говорит:

— Расстилай газеты.

Самая удобная газета была «Новое время», большая, много листов, одних объявлений о кухарках и горничных — две страницы.

Над этой газетой отец держит на весу цветочную банку, слегка наклонивши и похлопывая по бокам ладонью. И вот сыплется на газету лежалая и затхлая земля с бледными букашками, за ней освобождаются сплетшиеся нити тонких белых корешков. Все это нужно делать осторожно. А потом берем банку побольше, на дно кладем черепок, чтобы не засаривалась дырочка, насыпаем на четверть прекрасной свежей землей — и пересаживаем с любовью и великим старанием. Отец держит растение, а я пересыпаю землей корешки. Доверху наполнив и слегка умяв пальцами, — отставляем в сторонку и любуемся.

— Готово. Считай, Мышка: раз!

— Раз!

— Теперь давай второе.

— Два!

— Нет, подожди считать, еще не готово. Осторожнее! Подсыпай тихонько. Еще, да посмелее. Насыпай доверху. Вот так. Ну, Мышка, теперь считай: два!

— Два!

Так понемножку, от герани и флёксов, добираемся до фикуса и даже до пальмы. Когда пересадим пальму в новый деревянный бочонок, — зовем маму:

— Смотри, мама, хорошо?

— Да, хорошо.

— Надо ее поставить пониже, а то она совсем в потолок упиралась.

— Да, — говорит мама, — и поближе к окнам, чтобы было ей светлее. Сейчас солнца много.

Отец переносит пальму и поет на мотив марша из «Фауста»:

К о-окнам, да к окнам побли-и-же-е,
Ро-остом, да ростом пони-и-же-е!

— Ну, Мышка, теперь бей в барабан.

И я весело колочу цветочными палочками по табурету.

Такая радость с отцом пересаживать цветы в новую землю!

Руки по локоть в земле и даже на зубах хрустит. И пахнет земля весной, а на улице весна землей пахнет. Вот пройдет месяц — в деревню поедем, в Загарье на речке Егошихе.

* * *

Осторожно и любовно пересыпаю землю в коробочке карельской березы. Мы — люди от земли, крепко с нею спаяны.

Не сумею точно сказать, откуда пришли мои предки, хотя думаю — из стран варяжских. В мое время считалось неприличным заниматься предками: сословные предрассудки. Но, придя из стран варяжских, воевали они, конечно, недолго: осели на земле; одни жили близ Мурома в своих деревнях, другие спустились пониже и повернули к востоку, к степям и к монголам. Для меня же их история начинается только с прабабки, портрет которой висел у нас в столовой, да с деда и бабки, имена которых я соединил в своем.

Портрет прабабушки блистал не красотой, а строгостью. Старая, в чепце, губы поджаты, вся в темном глубоком фоне, а круглая рамка портрета обтянута собранным в складки черным крепом. Откуда ни взглянешь на старуху, прямо ли, сбоку ли, — она смотрит в глаза пристально-сурово и осуждающе.

И такая вышла странная история. Висел этот портрет еще в доме моей бабушки, в ее уфимском именье. И висел так, что его было видно через две комнаты — посередке стены. И вот однажды бабка моя сидит как раз за две комнаты от портрета и чувствует — беспокойно ей. Словно бы кто-то стоит за спиной, — а быть там некому. Наконец не выдержала, обернулась и увидала ясно, что портрет покойницы подманивает ее глазами, чтобы шла поскорее. Бабушка встала, положила моток цветной шерсти на пяльцы и пошла через комнаты прямо к портрету. И только вышла из своей комнаты — как в ней обвалился потолок, и пяльцы в щепы. Так портрет выманил ее и спас.

Вот как бывало в старые годы. Нынче так уже не бывает. Сколько раз — помню — разверзалась под моими ногами земля и сколько раз на голову рушилось небо, — и никто не пришел спасать. Когда мы порываем связь с землей и со всем нашим прошлым, — гибнут вместе с ним и легенды, а нам остается лишь отголосок старой песенки да вчера прочитанный приключенческий роман.

Прабабушкин портрет и у нас висел посередке стены, так, что смотрел он прямо на двери соседней комнаты. И частенько бывало — глядишь на него издали, и жуть берет: а вдруг он поманит глазами, и если сейчас же не подойдешь к нему, то обрушится потолок.

Особенно жутко было под вечер, в сумерки; днем же ничего — днем прабабушка была поласковее, старенькая, усталая. Иной раз прямо на нос ей садилась муха и чистила лапками крылья.

А вот бабку свою я знал живой, незадолго до ее смерти. Когда мы с отцом приехали в Уфу, где он много лет не был, мне шел тринадцатый год. Бабушка жила в своем старом городском доме, деревянном, уютном, заставленном ветхой мебелью. Когда шли обедать, я вел ее под руку в столовую, и были мы с ней одного роста, потому что от тягости больших лет бабушка стала совсем низенькой. А с ней жила такая же маленькая и сгорбленная старушка из бывших крепостных, нянчившая моего отца и всех его сестер и братьев.

Сейчас, после бури, пронесшейся над нашей страной, вряд ли можно найти сохранившийся чудом уютный уголок, где так пахнет сухими травами и прошлым. В комнатах бабушки каждая вещь и каждая вещичка имели почтенный возраст и свою несложную бытовую историю. Были, например, стулья и кресла крепкие и были послабее, а одно кресло стояло в углу, и на него садиться не следовало, потому что оно было хромым. И про каждый стул бабушка знала, почему он ослабел, в чем его болезнь и что с ним когда приключилось. На то кресло, что стояло в углу, сел однажды толстенный человек, бабушкин знакомый, и ножка подломилась да так и осталась без починки, только была подвязана веревочкой; прошли месяцы, потом года, и кресло-инвалид вошло в бабушкину жизнь со своим хроническим недугом, так что теперь его чинить было уже нельзя, нехорошо, как нехорошо старому человеку молодиться и притворяться подростком. Каждая царапинка на мебели и каждое еле заметное пятнышко на старой ковровой скатерти были бабушке известны, и с появлением их связано было в памяти ее какое-нибудь событие, для нас пустое, а для бабушки значительное. Таким образом, все, что бабушку окружало, было как бы живым календарем ее жизни, записью прожитых лет. И сама она была живой хронологией; никогда не говорила: «Это было в таком-то году», а неизменно поясняла: «Это еще когда у Нагаткиных случился пожар», или: «...когда Андрюша женился». Тягость дней и великую силу времени бабушка знала хорошо и ясно выражала. У нее был альбомчик стихов, который она любила показывать, особенно одну страничку с изображением голубка и дерзким стихотворением:

Ах, право, хуже оплеухи,
Как, не видавшись тридцать лет,
Найдешь в развалинах старухи
Любви восторженной предмет.
Ах, Маша, в прежние годочки
С тобой встречались мы не так;
Тогда ты нюхала цветочки —
Теперь ты нюхаешь табак.

И бабушка прибавляла:

— Вот уж верно-то!

Еще показывала она портрет своего дорогого покойника, не тот, что висел на стене, написанный местным художником и вставленный в золотую рамку, а другой, маленький, нарисованный карандашом и заклеенный сверху прозрачной бумагой, чтобы не стерся. Это был портрет моего деда. Большелобый, с фамильным нашим носом, он изображен сидящим в кресле, а во рту чубук огромнейшей трубки. На голове деда шапочка вроде ермолки, а на лице довольство и покой. Я так его и представлял: хорошее летнее утро, дед сидит на террасе или у окна усадьбы и смотрит, как под окном девка Малашка тащит молоко утреннего удоя. После, читая Тургенева, а особенно Аксакова, нашего родственника, я мысленно иллюстрировал их писания карандашным портретом деда. А рядом с ним я видел бабушку, только не такой старенькой и согбенной годами, а много моложе, вроде моей матери, и непременно в белом платье и с высокой прической. Мне, жившему всегда в провинциальном городе, помещичья жизнь была знакома только по литературе. И, конечно, мне было совсем чуждо то чувство гордости, которое слышалось в словах бабушки:

— Ты помни, что мы не какие-нибудь, а столбовые. Дворян много, а столбовые все на счету, записаны в одну книгу.

Мне эти «столбовые» представлялись высокими, белыми, вытянутыми, шагающими на несогнутых ногах. Но даже если бы я попробовал окружить их в своем представлении некоторым ореолом, — литература, которую я жадно поглощал в гимназии, скоро выветрила бы из меня такое о них представление. Бабушка напрасно старалась внушить мне уважение к неведомым предкам.

В первый же день приезда нашего она мне говорила:

— Проси отца свозить тебя в именье посмотреть нашу землю. Земли-то теперь мало осталось, все разделено да распродано, а все же взглянуть тебе нужно, потому что от этой земли ты и произошел. Может быть, когда вырастешь большой, на землю вернешься и станешь хозяином; надо за последний кусочек держаться крепко.

Земли этой я так и не повидал, потому что отец мой вскоре по приезде в родной город внезапно заболел и умер.

Рано умер мой отец, рано и напрасно. Хорошо уйти, когда стала земля в тягость и манит отдыхом. Но он был еще молод и любил землю по-иному: не за покой, а за жизненную ее силу. Я его спрашивал:

— Папа, откуда берется дерево?

— Из семени.

— Так ведь семя маленькое, а дерево вон какое; остальное-то откуда?

— Остальное из земли, из ее соков.

— И листья, и ствол, и все?

— Все, Мышка, из земли. И дерево, и ты, и я. Все живое и все мертвое, если только есть что-нибудь мертвое. А вот пойдем-ка лучше копать родник под горой.

В деревне мы жили на холмике, а по ту сторону за речушкой был лес, взбегавший в гору и уходивший в такую даль, что поместились бы на его пространстве в дружном и свободном сожитии, ни из-за чего не споря и не воюя, Франция и Германия. По опушке этого леса мы часто бродили, и любимое занятие отца было открывать новые родники светлой и холодной воды. Одно место он облюбовал на склоне горы между лесом и деревней: там была густая трава, и кустарник, свежий и пышный, окружил крохотную покатую полянку: тут непременно быть скрытому роднику!

И вот отец берет заступ, а я малую лопату, и потихоньку ускользаем из дому, а то мама скажет: «Опять перепачкаетесь и Мышка ноги промочит. Что за страсть копать в лесу землю, точно клад ищете!»

Отец на пути говорит:

— А ведь это клад и есть. Не было воды, и вдруг — вода! И какая вода — чистая и холодная, как лед. Правда, Мышка?

Уж, значит, правда, если это папа говорит. У него была улыбка добрая и немного насмешливая.

Пробирались в кольцо кустарника, и отец внимательно осматривал почву:

— Быть тут ключу живой воды!

Земля мягкая, как сыр; только корни трав прорезать. Городским башмаком налегает отец на заступ, а я смотрю. Как это он все знает: только вырыл яму в аршин глубины, ровненькую и аккуратную, как сразу же начала ямка наполняться водой, правда, грязной. Но эта сбежит — дальше будет чистая. От ямки отец прокапывает канавку по скату холма, и тут начинается работа для меня: убрать землю подальше, перемазаться и промочить ноги. Все удивительно удачно.

— Папа, а как ты угадал?

— Видишь: внизу есть болотце. Откуда ему быть? Значит, в горке скрытый ключ. Вот мы до него и докопались.

— Нужно будет укрепить землю, — говорю деловито.

Дело это мне известно. Чтобы новый родник не затянуло землей, мы укрепляем землю в ямке кольями, переплетаем ветками, а потом принесем и поставим желобок для стока.

Теперь к этому ключу будут ходить крестьяне с ведрами, потому что вода в речке невкусная и белье в ней стирают. А наш ключ светел, вода процежена через землю, холодна и сладка. Уже на другой день не останется в ней никакой мути.

Так открывали клады. А то бродили по лесу и любовались всем, что породила земля: и деревом, и травой, и ягодой, и грибом, и всякой букашкой. Я был малым мальчишкой, а отец мой был судьей, но были мы равны в наслажденье родной природой.

* * *

Между берегом реки Белой, где были пристани, и городом на середине пути было, а может быть, и сейчас цело, большое кладбище; земля на нем немного глинистая. Первый комочек земли велели бросить мне, и помню, как он стукнул о крышку отцовского гроба. Потом бросали все родные и еще какие-то старые и молодые люди, которых я раньше не видал. Один из них, совсем седой, но крепкий, высокий и строгий, подошел ко мне, мальчику, подал мне руку, пристально посмотрел на меня и сказал:

— Похож ты на батюшку своего, на покойника; это хорошо. Будь и ты таким, как он. Хоть и постарше его, а был я ему в старое время большим приятелем и даже, могу сказать, другом. Не чаял пережить, а вот довелось увидеть, как приняла его земля, наша общая кормилица. Тут где-нибудь рядом и мне лежать.

Кто он был — не знаю, а слова его помню; особенно про сходство мое с отцом и про землю, общую кормилицу.

Любовь к земле, страстная к ней тяга, я бы даже сказал, мистическое ей поклонение, — не к земле-собственности, а к земле-матери — к ее дыханию, к прорастающему в ней зерну, к великим тайнам в ней зачатия и к ней возврата, к власти ее над нашими душами, к сладости с ней соприкосновения, — это действительно осталось во мне на всю жизнь. Если это атавизм, нечаянное наследие сидевших на земле предков, — то да здравствует атавизм, потому что более священного и возвышающего чувства я не знаю; даже чувство самой крепкой любви к женщине есть, по-моему, производное от преклонения перед притягающей и плодотворной силой земли. Но не портретами и не Бархатной книгой [2] внушается такая любовь. Она входит в человека незаметно, чаруя его видом первой весенней проталины, заражая радостью проснувшегося к новой жизни поля, изумляя пышностью и многоцветностью земных покровов, беспрерывно твердя ему, что все человеческие достижения — не победа над природой, а лишь неуклюжее и очень жалкое подражание ее творчеству, потому что комар бесконечно совершеннее самолета, рыба — подводной лодки, а строительный гений пчелы, муравья, любой семейственной букашки — в человеческой среде равного себе не имеет. И все это только потому, что никто из этих существ не считает себя господином земли и победителем природы, не стремится наивно властвовать над своей матерью и своей первопричиной, не изменяет любви ради мелкого тщеславия.

Но, быть может, больше всего я люблю землю за то, что я вижу в ней олицетворенным понятие вечности; в ней прошлое слито воедино с будущим, мое прошлое с моим будущим. Чудесным и никому не ведомым образом она вызвала к жизни мое маленькое существование, позволила мне проползти по ней от вечности к вечности, от небытия к небытию, — и так же чудесно и необъяснимо призовет меня обратно:

«Ибо прах ты — и в прах обратишься».

II

Признак чего — если мысль, свершив назначенный ей круг исканий, уверенностей и сомнений, приводит человека к чувствительным воспоминаниям о детских годах и к образам, окутанным дымкой давно прошедшего? Может быть — признак вплотную подошедшей старости? Жажда подвести итоги? Желание предстать с готовым отчетом?

Не думаю. Жизнь не в цифрах, и ничья рука за отчетом не протянется. Тут иное: неизбежная переоценка и того, что казалось незначительным, и того, чему придавалась непомерная важность. Пустяком представлялась детская книжка, маленькое открытие, голос матери, отцовская шутка; и мучительно сложной казалась житейская борьба за достоинство и независимость человеческой мысли, за разумность общественных отношений и справедливость дележа духовных и житейских благ. Но идут года — и на кованой бронзе убеждений отлагается зелень мудрости, та самая, которую не умеют подделывать фабриканты предметов старины. И вот опять — как в детстве — личное выступает вперед, заслоняя вопросы, над которыми мы так долго и так напрасно работали.

Склонившись над коробочкой из карельской березы, над этой урной земли московской, я перебираю в памяти, как долго, упрямо и досадливо я старался заменить для себя эту горсточку серой пыли — всем земным шаром и какая неудача постигла наивную попытку.

Песчинки земли, которые я пересыпаю спокойной рукой, нечаянно обращаются в многоцветный бисер и загораются светом. Это уже не тонкая струйка, а искрометный водопад. Потом мне начинает казаться, что перед моими глазами дрожит, и колеблется, и мелькает цветными просветами золотая сетка. Она дразнит глаз причудой рисунков, странным переплетом картин и событий, когда-то поразивших меня и теперь перемешавшихся в памяти мозаичной неразберихой. Мне хочется остановить это беспрерывное мельканье, выхватить из волшебного букета несколько самых простеньких цветков и удержать их невредимыми, когда краски опять поблекнут и слиняют. Я напрягаю зрение, протягиваю руку — и всей горстью хватаю пустоту; только вглядевшись спокойнее, я вижу, что между пальцами моей руки застряла одна-единственная серенькая песчинка.

Я долго берегу ее, перекатываю на ладони и ищу то маленькое слово, которое могло бы развязать клубок моей мысли и стать началом простого рассказа.

* * *

В учебниках географии Янчевского и истории Иловайского многажды названо имя Рима. Но Рим был для нас лишь красивым звуком, а красивых звуков было вообще немало. Звуками, исполненными смысла и действительного значения, были такие имена, как Казань, Екатеринбург, в более далеких мечтах — Петербург и Москва.

Совсем же близким именем, кроме имени родного города, было Загарье, маленькая лесная деревушка, куда мы всей семьей переселялись на летние месяцы.

Мы жили там на чистой половине крестьянской избы, сложенной из еловых бревен, проконопаченных паклей. За стеной мычала и жевала корова, а в пакле жило много тысяч клопов. Иных дач и курортов в нашей провинции по тому времени еще не было. Зато тут было бесконечно много земляники, малины, смородины, брусники, грибов, и воздух был хвоен.

Этот одноэтажный бревенчатый замок, качаясь в воздухе, всплывает в моей памяти над мрамором и сединой настоящего Рима, в котором я позже жил в высоком доме окнами на Ватикан. А речонка Егошиха, через которую я мальчиком перепрыгивал, а отец мой спокойно перешагивал, смеется над Рейном, Дунаем и морями, омывающими берега Европы.

Нам, меняющим страну на страну, земной шар уже не кажется огромным. Без труда мы соединяем земли с землями мысленной чертой через океан. Мы привыкли к смене языков, неточно совпадающей с границами, и к повторяемости людских обычаев в разных климатах и под разными широтами. Тем из нас, кто, как я, вынужден был блуждать по чужим землям два срока, и до и после войны, за количество убитых названной великой, — хорошо знакома и разница отношений к нам, гражданам шестой части земной поверхности: от корыстного обожания — до небрежной заносчивости. Но бывалого не удивишь: он умеет ждать.

И вот я вспоминаю, как я пытался — и не без успеха — подменить свое потерянное, простое и невзрачное, роскошью найденного чужого. Я учился улавливать в старых плитах травертина блеск скрытого в нем золота, чувствовать дыханье вечности в жизни современного Рима, ценить европейскую культуру, к которой была приобщена и Россия, любоваться красотами чужих озер и гор, уважать энергию немцев, оригинальность англичан, легкость общения французов, порывистость южан, нравственную стойкость северных народов.

Было совершенно необходимо перенести неистраченное чувство жизнеприязни и молодого восторга со своего на не свое, усыновив себя остальным пяти шестым земли.

Перед статуей Аполлона Печального я говорил:

— Вот рождение искусства!

И, указывая на скаты Юнг-Фрау:

— Вот женственнейшая белизна снегов!

И, переплыв Кале:

— Вот колыбель и оплот политической свободы!

И, спускаясь с горы Ловчен или проезжая по фьордам Норвегии:

— Вот красивейшее в природе!

Верил сам и уверял других.

Они вздыхали, лепетали о «чудной сказке» и возвращались в свои губернии и уезды, куда мне доступа не было.

Они уезжали, — а я оставался наслаждаться чужими красотами.

В дни, о которых я сейчас вспоминаю, русские еще не считались париями и носителями заразы, и иностранцы, позже ставшие нашими военными союзниками, еще не выработали в себе деятельного презрения к народу, заплатившему миллионами жизней за их прекрасные глаза. В те дни никто не препятствовал мне бродить в городах Италии, купаться в швейцарских озерах и лежать на траве в английском парке.

В парке была совсем особенная, не зеленая, а голубая трава. Ее можно было топтать ногами, — и она невредимо подымалась и оживала. Надписи «Воспрещается» не было, так как она была бы излишня. Я спросил сторожа парка:

— Как удается вырастить такую удивительную траву? Вероятно, это требует длительного ухода?

Сторож оглядел меня с ног до головы. На мне был костюм из английской материи, так что складка на брюках не портилась от лежанья на траве. Воротник был свеж, волосы коротко острижены, подбородок брит. Поэтому сторож счел возможным солидно ответить:

— Лет пятьдесят хорошего ухода вполне достаточны, если стричь траву аккуратно.

Это было, по меньшей мере, горделиво. И я вспомнил свою прогулку по Восточной Ривьере Италии, где как-то зашел в кабачок отдохнуть и выпить вина. Против кабачка, через дорогу, был скалистый участок, подымавшийся террасами. По лестнице, выбитой в скалах, пожилой итальянец таскал землю, очевидно, накопленную внизу, близ ручья. Принеся мешок земли, он вытряхивал его на почти голый камень, обтирал пот тем же мешком и шел обратно за следующей порцией земли. Это он делал огород. Я подумал:

— Нужно очень любить землю, чтобы обречь себя на такой каторжный труд!

Год спустя я опять проходил по тем же местам. Огород был готов. На нем росла та чахлая и дрянная зелень, которую итальянцы и французы называют и считают капустой, которая не окучивается и почти не дает кочана. У нас такую капусту считают неуродившейся и скармливают скоту или оставляют для пользования зайцам. Хозяин огорода сидел на корточках площадкой повыше и перетирал руками комья земли, выбрасывая камешки.

И вдруг мне представилась такая картина.

Я стою среди поля где-нибудь в Тульской губернии, опершись на трость. Что-то отвлекает меня, и я ухожу, забыв тросточку воткнутой в землю. Идут благодатные дожди, земля дышит жизнью, и моя забытая трость с набалдашником покрывается листьями, бутонами и цветами. Теперь уже нельзя вырвать ее из земли, потому что она пустила глубокие корни.

Таким нелепым видением я отвечаю горделивости англичанина и трудолюбию итальянца.

И вообще я замечаю, что во мне растет непонятный протест против чужих благополучий и красот. Нотр-Дам-де-Пари не кажется мне домом молитвы, таким, как сельская церковь на пригорке моей родины. В Швейцарии отвратительны кричащие вывески гостиниц и торговых домов на каждом живописном камне. Я мысленно еду по Луньевской ветке на Урале — и никто меня там никуда не заманивает, никто не кичится красотами природы, которых Швейцария лишь бледная тень. Во мне подымается какая-то невольная, я знаю — совсем несправедливая брезгливость к узкой дороге над пропастями, ведущей в Черногории от Скутарийского озера к Цетинье. В свое время я восторгался грозовыми тучами, выше которых я ехал на лошади в столицу этого исчезнувшего теперь государства. Теперь мне смешно сравнивать тамошние виды с картинами Кавказа. И я завистливо стараюсь припомнить, чем можем мы ответить Норвегии, фьорды которой приводили меня в восторг, ее удивительным озерам цвета жидкой стали, ее могучей природе? Шестисотверстным Байкалом? Разливом сибирских рек, устье которых шире маленького государства? Хребтом Чарского[3] в Якутии, о котором еще не слыхали европейцы? О, слишком многим!

Но вправе ли я вступать в неравный бой со сторожем английского парка и итальянским огородником, которые попросту скажут мне:

— Вам нравится больше свое? Тогда почему же вы не дома, не в тайге, не в степях, не на Урале, не на Байкале, не у дверей своей сельской церковки?

И мне нечего им ответить.

Я бы мог, конечно, длинно и нудно рассказать им, как в свое время мы увлекались английской избирательной системой и биографией Гарибальди и что из этого вышло. Мог рассказать про моего друга детства, с которым мы играли в бабки и городки, зубрили латинские стихи, затем слушали курс политической экономии, прятали в карман запрещенные книжонки и обедали в студенческой столовке за соседними столами. Как затем этот приятель мой стал властью и сказал мне:

— Мы разно смотрим на способы создания безоблачного счастья для будущих поколений. Поэтому я останусь здесь воспитывать и управлять, а ты должен покинуть пределы нашего общего отечества.

Он мог сказать это гораздо грубее, но я не хочу спорить из-за слов. Злобы во мне нет, я только полон удивления. Мне кажется невозможным, что человек, такой же, как я, или, пускай, много меня лучший, мог лишить меня радости жить там, где я жить должен, где все мне дорого: на земле моего рожденья. Мне это кажется даже не жестокостью, а бьющей в глаза бессмыслицей. А между тем это случилось дважды за четверть века. И одинаковые слова были сказаны совершенно различными, враждебными друг другу людьми. В мыслях и поступках их объединяла ослепляющая рассудок сила, которую называют авторитетом власти.

И оба раза, за чертой для меня предельной, мне открылись для свободной и независимой жизни пять шестых земного шара: достаточная замена отныне запрещенной для жительства жалкой деревушки на речке Егошихе.

Но согласитесь, что таких объяснений иностранец не примет и не поймет.

На острове Мурано близ Венеции сторож храма показывал мне во внутреннем куполе мозаичную Мадонну византийского стиля:

— Эта Мадонна, синьор, лучшая во всей Италии и, следовательно, во всем мире.

Мадонна действительно прекрасна. Я спросил:

— А вы видали других?

— Если бы не видал — не смел бы говорить.

И он мне рассказал, как однажды кучка

англичан осматривала храмы и толковала, что эта Мадонна хороша, а в иных местах найдутся и получше. Сторож, влюбленный в свою Мадонну, возревновал. Он стал подкапливать деньги, а когда пристроил всех своих детей, решил отправиться в путешествие. Разузнав заранее, где его Мадонна имеет соперниц, он объехал все эти места и своими глазами убедился, что лучше его муранской Мадонны, красивее ее и божественнее нет Мадонны — и быть не должно. Тогда он вернулся в Мурано доживать свои дни сторожем при ее храме. Может быть, он жив и по сей час.

Слушая его рассказ, я думал: «Между нами только та разница, что он вернулся, а я вернуться не могу, хотя моя Мадонна прекраснее всех существующих и мыслимых».

Это было накануне мировой войны, сделавшей невозможное возможным. Через десяток границ, кругом Европы, я вернулся.

Муранская Мадонна, полная прелести и печального покоя, сияет под куполом храма. Моя Мадонна переживала в то время канун тяжких испытаний.

Я рассматривал ее с жадностью проснувшегося для огромной любви. Северные леса, от Финляндии до Печоры, были ее зелеными кудрями; падавшими складками ее одежд были Кама и Волга; ее сердцем была Москва. Только теперь, наглядевшись на чужие красоты, я мог вполне оценить ее несравненность. Но это была не ласковая материнская красота Мадонны острова Мурано, а Мадонна страстная и страждущая, Мадонна Доленте[4], святая грешница, ждавшая сына. Я присутствовал и при ее хождении по мукам, — и боль, исказившая ее лик, была моей болью. И все-таки образ ее оставался для меня прекрасным и неповторимым. Как тот сторож муранского храма, я решил не расставаться с нею до конца дней, — но силой был отброшен далеко и, вероятно, навсегда.

Таков рассказ о большой любви. Тем, кто ее не испытал, он должен казаться наивным и слишком чувствительным. Впрочем, таков он и есть.

* * *

Вот я округляю фразы и подыскиваю образы покрасивее, потому что в такой условной форме легче выразить мысль не только для других, но и для себя самого; такова сила привычки.

Но все эти образы — лишь напрасный налет на невыразимом словами чувстве тяги к земле. Я пишу в тени молодых увядающих вязов, пострадавших от жары; земля здесь глинистая, засоренная камнем, искусственно осушенная, и корни деревьев не находят достаточно питательной влаги, листья сохнут и желтеют раньше поры. Бумага, на которой пишу, рождена от земли, золотое перо-стило найдено в ее недрах, чернила — ее продукт. Передо мною домик, сложенный из камня и дерева, и каждый предмет внутри и снаружи, и сам я, и моя мысль, и все ... отец был прав, говоря:

— Все из земли, Мышка, и живое и мертвое, если есть что-нибудь мертвое.

Когда я пытаюсь встать, на мои плечи ложатся уверенные руки, пригибают меня обратно к земле. Нужно усилие, чтобы приподняться. И при каждом шаге нога как бы срастается с землею, неохотно от нее отделяется. С годами это ощущение все сильнее. Это называется утомлением, но в действительности — растущая тяга к земле и в землю.

Порыв ветра уносит с вязов пожелтевшие листья за изгородь маленького участка земли, который я снимаю для летнего отдыха; но большинство палых листьев остается лежать под деревом. Судьба оставшихся и судьба унесенных, в сущности, одинакова; к будущей весне не останется их следа, потому что мы не умеем разглядеть в цветке настурции частички перегнившего за зиму совсем неродственного ей растения. Лист, унесенный ветром в чужой участок, также призван стать основой какой-нибудь сейчас ему чуждой жизни.

Судьба человека — как старинный курган. В наших краях их было много по течению больших рек. В них вместе с телом клали любимые и нужнейшие вещи человека: одежду, сосуды из глины и металлов, монеты, зерна злаков, оружие. Старый московский профессор[5] показывал нам в музее витрину, где лежали эти вещи, добытые из курганов, и говорил:

— Вот в той коробочке обгоревшие и потому сохранившиеся зерна ржи; лучшее доказательство того, что наши предки, скифы, занимались земледелием еще в доисторические для нас времена.

Мы, студенты, по очереди склонялись над

стеклом и смотрели на обуглившиеся крупинки. Но в то время из урока истории мы мало черпали для философии жизни; мы были очень молоды. В той же витрине лежали кости, вынутые из кургана, каменное оружие, посуда, все то, что еще не успело обратиться в землю и было так напрасно потревожено во имя науки. Мы в науку очень верили.

В жизни мы окружали себя вещами, лишь им придавая значение. Ведь все, что мы делаем, ради чего вступаем в отчаянную борьбу сами с собой и друг с другом, все-таки — вещи: металл, дерево, живая ткань, все то, что станет достоянием нашего кургана и с веками обратится в землю.

Мы об этом редко думаем — да и стоит ли понапрасну себя тревожить?

Но ощущение будущей судьбы всего живого забегает вперед мысли. Не потому ли с такой любовью и в предчувствии вечного покоя я пересыпаю рукой песчинки московской земли в коробочке карельской березы, вспоминая детские годы, и предков ближних и дальних, и поиски лесного родника, и домик бабушки, и скифский курган, и Рим, напрасно названный вечным, — чтобы снова вернуться мыслью к единой вечной вещи — к земле:

«Ибо прах ты — и в прах обратишься».

Св. Женевьева Лесов

ПОРТРЕТ МАТЕРИ

Из старой женщины с грустными глазами, какой взяла ее смерть, она превращается для меня в девочку лет четырнадцати, изображенную художником на миниатюрном портрете: худое прозрачное личико, чистые голубые глазки, тонкая талия, закованная в корсет, и трогательные розовые с синевой пальчики, так любовно зарисованные художником, что каждый ноготок виден особо.

Такою она была в институте в Варшаве. Она была там единственной русской, училась прекрасно, но окончила без шифра [1], «потому что во время мессы тянула кошку за хвост».

Это совершенно невозможно! Моя мать с раннего детства и до смерти была религиозной и кротчайшего характера, и кошка замяукала во время мессы, незадолго до выпуска, только потому, что польский институт не хотел дать шифра русской. Это было для девочки большим огорчением, — мать вспоминала об этом всю жизнь. Когда я был маленьким, пятым в семье ребенком, я представлял себе странную картину: идет обедня, и кто-то за стеной нарочно дергает за хвост кошку, чтобы не дали маме большого банта на платье (так представлялся мне шифр).

Институткой она осталась до конца жизни. Одевалась чистенько, аккуратно, изящно; никто, даже по утрам, не видал ее непричесанной. Молилась она по книжечке, хотя была православной. Ложась спать, вспоминала, что случилось за день дурного, и что хорошего, и что, белое или черное, перевесило сегодня. И каждый день, от института до смерти, занималась по утрам иностранными языками по сохранившейся институтской книжке: французским, немецким и английским.

Эта книжка, толстая, переплетенная в кожу и за полвека ежедневного употребления оставшаяся чистой и непотрепанной, содержала параллельный перевод изысканных выражений на трех языках. Полоской картона мать закрывала два столбца, оставляя третий. По тексту французскому — вспоминала два других текста, немецкий и английский; затем закладка передвигалась, — и по английскому припоминались идиомы двух других языков; затем открывался текст немецкий.

Толстую книгу мать знала наизусть. Когда (очень редко в глухой провинции) ей приходилось говорить с французом, англичанином или немцем, она их поражала своим языком: они объяснялись попросту, разговорно, она же подавала реплики на языке изысканном, изощренном, старинном, на каком не только говорить, а и писать уже перестали. С содержателем же колбасной, приходя за покупками, она говорила по-польски; этот язык, знакомый с детства, она никогда не забывала: говорила на нем, как полька, и напевала на нем старинную песенку о месяце, заглянувшем в окошко.

— Легкий язык, — говорил мой отец, никогда в Польше не бывавший, — отец — ойтец, мать — майтец, мыло — мыдло, было —

быдло... А еще: «Не пепшь Петше пепшем вепша...»

Было у институтки пятеро детей (да еще один умер маленьким): пять биографий произвела на свет. Это не легко дается. Все пять биографий начинались одинаково: кормление, скарлатина, гимназия... Когда дошло дело до младшего, до меня, мать отлично знала не только геометрию, но и латинский язык. И в первый класс я поступил, обучившись у нее большему, чем должны были научить меня к концу первого года. Даже Цезаря немножко разбирал. И когда начали мы читать в классе: «Gallia est divisa in partes tres»[1], — заботами матери моей я уже давно знал, что это значит.

Но кроме латыни есть и арифметика. Уже одиннадцать часов, спать пора, — а третья задача из Евтушевского еще не решена. Мать только что кончила заниматься с сестрой, которая никак не могла запомнить названия полуостровов.

— Ну, Пиренейский же, Пиренейский, ты запомни: перина, на которой спят. Повтори все полуострова.

Сестра повторяет — и опять забыла Пиренейский.

— Я же научила тебя, как запомнить. Ну на чем спят?

И кончиками губ шепчет моя сестренка:

— По-ду-шечный?

Сестра идет спать, а я все еще пишу на-

---

* Галлия разделена на три части» (лат.).

прасные палочки в тетради. Рядом со мной мать тоже решает задачку, шепча про себя:

— 354 фунта, 8 лотов и 3 золотника картофеля помножить на 17 и 6 в периоде...

Ну за что мучат и ребенка и мать! Все-таки она решила, я переписал в свою тетрадку. Крестит меня, целует — иду спать и я.

А на другой день двойка за устный ответ. Спрашивали пустяк, а я не ответил, потому что голова устала от глупых этих цифр, от вечного сидения над задачником. Мне горе, маме тоже грустно: смотрит глазами печальными. Ушел в свою комнату, опустился перед постелью на колени, голову уткнул в подушку, заплакал и заснул. Сколько буду жить — никогда не прощу своих слез сухому учителю арифметики: зачем мальчика мучил!

Проснулся оттого, что мать обняла за шею. Она тоже на коленях перед кроватью и тоже заплаканная. Слезы из детских и взрослых глаз, потому что так трудно помножить картофель на 17 и 6 в периоде, когда и другой зубрежки много, когда нужно еще запомнить, что Максимилиан Первый любил ходить на охоту, чтобы переплетать книги в кожаный переплет, и что город Брюссель славится своими кружевами. Так до самой смерти не перестану не любить педагогов: ведь это они выдумали и кошку за обедней в мамином институте!

Когда я родился, матери не было еще тридцати лет. Она вышла замуж в семнадцать, значит, почти такой, как на портрете: голубые глазки и тонкие миниатюрные пальчики. Когда я надел фуражку гимназиста (с большой тульей и гербом), мать все еще казалась моложенькой, только начала полнеть. Она смущалась и краснела от нескромных слов и кокетливо оправляла перед зеркалом волосы, без единого седого. Но жизнь в провинциальном городе была однообразна и скучна, а большая семья требовала вечных мелких забот. Мать не только всех нас подготовила к гимназии, не только помогала нам готовить уроки, но и лечила всех сама простыми и испытанными средствами: липовым цветом, сухой малиной, касторкой, компрессами, клюквой в уши — при головной боли (это после пирамидон выдумали), паутиной — при порезах, теплым деревенским маслом — если стреляло в ухе. Когда детей пятеро — один из них непременно болен, а для хорошей жены муж ее тоже идет за ребенка. Мало оставалось у матери свободного от забот времени. И вокруг ласковых голубых глаз появились тонкие морщинки.

Была у родителей мечта: из глухой провинции перебраться в столицу, или хоть поближе к центру, или, наконец, хотя бы на родину отца, где было бездоходное именье на реке Бугуруслане; хоть немного пожить бы, отдохнуть, — а там пусть опять служба и семейные заботы. Так мечтали двадцать два года. А сбылась бы мечта — взволновались бы безмерно, не знали бы, как расстаться с насиженным местом, с привычками, с кругом знакомых, как приспособиться к новым местам.

Но мечта не сбылась.

Однажды весной отец получил отпуск, взял с собой меня, младшего, и поехал в родной город Уфу, навестить свою мать, повидать именье. По дороге, в Пьяном Бору, где пересадка с Камы на Белую и где тогда приходилось целую ночь ждать на пристани парохода, отец простудился, а по приезде в Уфу, едва увидав родной город и старый дом моей бабушки, — слег и умер. Мать приехала, когда на уфимском кладбище уже стоял новый намогильный крест.

Семья стала маленькой (две сестры вышли замуж и уехали в Москву). Была приличная бедность: ели хорошо, а носили штопаное. Осталась кухарка Савельевна. По субботам мать ходила с ней на рынок. Заяц в шкурке стоил пять копеек, без шкурки — десять (снять шкурку — тоже работа). Близ города были леса — тянулись через Урал на тысячи верст. И стерлядка стоила пятачок (из кормилицы Камы!). А вот ученье стоило дорого. Впрочем, доучивался теперь один я.

Был у матери рабочий столик с откидной крышкой, с ящичками, полочками — целый городок рукоделья. Окончив утренние хлопоты, она за ним проводила весь день. Штопала, вышивала, чинила белье, читала, раскладывала пасьянсы. Чтобы сберечь глаза — разнообразила работу: штопка, газета, чулок, книжка, вышиванье, пасьянс. В перерывах брала из коробочки кедровый орешек, разбивала камушком и ела. Зубы стали плохи. Но утром, прежде всяких занятий, открывала институтскую книжку и шепотком повторяла старинные фразы — по-французски, по-немецки, по-английски.

— Зачем, мама?

— Ну, я привыкла. Может, и пригодится еще.

А когда, уже студентом, я стал работать в газетах и летом секретарствовал в нашей провинциальной[2], — она переводила для меня статейки из иностранной почты и небольшие рассказы. И нечаянно я узнал, что у нее был отличный литературный язык и что она хорошо разбиралась в событиях жизни заграничной. Откуда это — у институтки, всю жизнь прожившей в губернском городке Приуралья?

Теперь я видал мать только летом, когда приезжал из Москвы на каникулы (пароходом по Волге и Каме! Незабвенное время! Счастливые дни! Любимый кусок родины!). А както приехал и зимой, нежданно: выслан был на родину за «защиту чести студенческого мундира».

Всплакнула мать, обнимая сына-героя:

— Ну, из-за чего это вы? Лучше бы учились хорошенько. Вот теперь год и потеряешь.

— Нам не дают учиться, мама. Мы не можем допустить...

— Я знаю, милый, я читала, а все-таки лучше бы сначала выучились, а уж потом... Твое дело, но ведь лишний год так трудно.

И посмотрела на мою папиросу:

— Вот ты все куришь...

Утром, вставши, вижу: беднее стало у мамы в квартире. Все старенькое. Сама, в черном старомодном платье, сидит за книжкой, передвигает закладку, шепчет английские фразы.

Был на третьем курсе. Написал матери:

«Пришли мне, пожалуйста, поскорее нотариальное разрешение жениться; оно нужно для представления в университет ректору, так как без этого не венчают. Я, мама, решил жениться. Моя невеста...»

Она ответила:

«Посылаю тебе разрешение. Что ж поделать, если ты решил жениться, хотя, по-моему, тебе рано. Лучше бы сначала окончил и устроился. Но дело твое, мой мальчик, я не противоречу; значит, уж такая твоя судьба...»

На каникулы приехал и говорю:

— Свадьба моя отложена, мама. Может быть, еще и не женюсь...

У нее радостно и хитро заиграли глазки:

— Как знаешь, милый. По-моему, тебе рано, ты еще совсем мальчик. Но как знаешь, делай как хочешь. Если женишься — я полюблю твою жену.

Прожил дома лето. Нотариальное разрешение отдал матери обратно:

— Не нужно, мама.

— Я знаю; ты все получал письма. А ты бы, если уж суждено тебе жениться, женился бы на Катеньке.

Катенька была моим другом детства, любимицей матери; жила в нашем городе.

— Нет, мама, я вообще не собираюсь.

Перекрестила и отпустила опять в Москву.

Потом был девятьсот пятый год, коротенькая «эпоха свобод». И тогда мать писала мне, маленькому московскому адвокату, больше занятому революцией, чем практикой:

«Может быть, вы и правы. Я, во всяком случае, очень рада, что наступило время, о котором ты мечтал».

Она каждый день читала «Новое время», ходила ко всенощной и к обедне и горько плакала (я это хорошо помню, хотя был тогда совсем маленьким), когда убит был Александр Второй. Он, царь-освободитель, был ее кумиром, может быть, потому, что мой отец был скромным участником крестьянской и судебной реформы Александра.

Теперь отца уже не было: был сын, и радость сына могла стать радостью матери. Она всю жизнь жила радостями и горестями мужа и детей.

Но «эпоха свобод» окончилась быстро. Мать знала, что мне грозит. Все равно ей не пережить бы этого несчастья; даже мысли об этом она, старенькая, пережить не могла.

И когда следователь в Таганской тюрьме, предъявив мне статью закона, которую я и ждал, начал официальный допрос: «Ваш отец? Ваша мать?..» — я ответил ему:

— Тоже умерла.

— Когда?

— Сегодня утром получил письмо.

Он посмотрел на меня исподлобья и смущенно выразил соболезнование.

* * *

Ни одного письма, ни одной строчки, писанной ее четким бисером, нет в моем архиве: все похоронено в архивах Охранки и Чека. Нет даже картонного квадратика, которым она закрывала текст институтской книжки и на котором записан был для памяти порядок пасьянсов:

«Восемь королей.

Rouge et noir.
Горница.
Тринадцать.
Concordance.
Веер.
Взаимность.
Кадриль.
Марьи Павловнин.
Для тасовки.
Мой».

Пока мог — я свято хранил этот кусочек картона, присланный мне сестрой. Но и он вместе с другими реликвиями погиб в скитаньях и при обысках.

Остался — чудом и дружеской услугой — только портрет работы польского художника, с пометкой: «54 г.». Такой она была три четверти века тому назад: худенькой институточкой с тонкими прозрачными пальчиками.

И вот уходят из памяти черты лица молодой женщины и старухи. Но каждый день, когда смотрю на портрет в круглой черной рамке, — освежается и укрепляется в памяти (уже навсегда) лицо девочки с голубыми глазами.

Когда смотрю — думаю: «Я — сын этой девочки!»

И делаюсь тогда сам маленьким, хрупким, незаметным, может быть, счастливым, а может быть, и не очень счастливым.

Есть и мой детский портрет. Но никто никогда не повесит его над постелью и не будет думать: «Я — сын, или: я — дочь этого мальчика в теплой курточке».

Никто никогда, потому что некому...

ДНЕВНИК ОТЦА

Отец! Прости мне это кощунство! Я перелистываю тетрадь пожелтевших от времени страничек, дневник твоей любви, твоих страданий и твоего счастья. Я делаю выписки — и со смущенным удивлением смотрю, как сходны наши почерки. Я ясно вижу и другое: как сходны наши мысли о самих себе, эти безжалостные характеристики, в которых правда чередуется с праздным самобичеванием. Передо мной и твоя карточка — последняя, покойная: сложены руки, и голова ровно примяла подушку, окруженную гирляндой цветов. Я прикрываю бумагой твою седую бородку и узнаю в мирно спящем, в спящем навеки — себя самого: лоб, нос, надбровные дуги. Только спокойствие и серьезность — не мои, еще не мои...

Эта тетрадь да миниатюрный портрет матери — все мое наследство; и я большего не желал, лучшего я и не мог бы желать. Две реликвии пятидесятых-шестидесятых годов, две тени прозрачных душ. Через годы и этапы жизни они прошли и сохранились истинным чудом. В них моя связь с далеким прошлым, с началом и причиной моего бытия. Мне уже некому будет передать их. Но мысль не мирится с тем, что они окажутся на лотке сенского антиквара, что коллекционер обшлагом сотрет пыль со стекла миниатюры, а лицеист, послюнив палец, с недоумением перелистает рукопись на незнакомом языке. Мне хочется продлить их интимную жизнь хоть в чьей-нибудь памяти, прежде чем все исчезнет.

Разве это — кощунство? Со всей силой любви и благодарности — благодарности за жизнь, которую оба вы мне даровали, — я напрягаю все свое малое дарование, чтобы сказать о вас лучшими словами, какие найду и сумею вплести в венок вашей памяти. Простите же меня! Уже и до меня доносится холодок грядущего небытия, уже и на моих часах стрелка неумолимо близится к неведомой мне минуте покоя в Востоке вечном.

То, что я пишу сейчас, — пишется лишь один раз в жизни и в груде исписанных за многие годы листов бумаги не потонет: кто-то любящий, в кого я верю, чью ласковость чувствую, — близкий ли, далекий ли, родной или незнакомый, — сделает из этих страниц реликвию памяти обо мне, а через меня — о вас, когда и эти страницы позолотятся временем, как лежащая передо мной наивная и трогательная запись мечтаний и любовной тревоги.

«Я придумал писать к тебе, милая моя Леночка. Знаю, что ты никогда не прочтешь того, что будет мною написано. Знаю также, что тебе и в голову не может прийти, чтобы я мог что-нибудь писать тебе, будучи так немножко знаком тебе. Знаю даже, что ты отозвалась бы насмешливо и даже презрительно, если бы узнала, что какой-то человек, совершенно тебе чуждый, вовсе не привлекательный и более чем посторонний, осмеливается что-то писать к тебе, без всякого права, без малейшего основания и повода, и притом так дерзко, так вольно. Но Боже мой! Ведь говоря с тобой, разве тебе я говорю? Я говорю с воображаемой Леночкой, или лучше — говорю с самим собой. Положим, это странно, дико, смешно и даже глупо. Разве ты-то узнаешь когда об этом?»

Отец мой был бедным уфимским помещиком и в своем бездоходном имении почти не жил. Окончив университет, стал работать и работал до последнего дня жизни, тяготясь этим, но и не умея жить без постоянного и упорного труда.

Его дневник по времени должен совпадать с первыми годами реформ Александра Второго, с крестьянской и судебной; но в дневнике — только его любовь, эпоха в нем не отразилась. Работал он по проведению крестьянской реформы, позже — судебным следователем первого призыва, еще позже — членом окружного суда в приуральской провинции, откуда, уже человек многосемейный, никак не мог выбраться.

Умер он в родной Уфе, куда приехал повидаться с родными и показать им младшего сына — меня. Тому времени прошло больше тридцати пяти лет. Ему хотелось еще показать мне остатки неразделенного нашего родового поместья, — но не удалось. Помню, что оттуда, из деревни, приехал повидать отца и меня наш бывший крепостной повар, глубокий старик, очень преданный. Он смутил меня, гимназистика, поцеловав меня в плечо, а потом собственноручно свертел нам мороженое. Когда отец умер, именье, которого я так и не видал никогда, продано было крестьянам.

Мне не верится, чтобы отец мой был таким «непривлекательным» и замкнутым в себе человеком, каким он себя изображает в дневнике. «Близких и милых друзей у меня нет, и сам я такой скверный человек, что не способен к большой откровенности. В жизни моей такая скудость и пустота. Мне страшно, что время уходит без следа и напрасно; мне грустно, что такая пустота и пошлость представляется моим глазам и так мало истинно прекрасного я вижу». Влюбленный — может ли писать иначе? Но я помню и знаю по отзывам других, каким он был привлекательным, общительным, веселым и милым человеком, какой любовью и уважением пользовался в обществе. В молодости не было друзей? Возможно. Но не выше ли дружбы, не богаче ли ее — любовь, которой посвящены его записки?

«Я в первый раз увидел тебя в театре. Ты только что приехала в Уфу и впервые явилась уфимскому обществу. Я пришел в театр усталый от работы, пришел измученный и грустно настроенный. В театре ты обратила на себя внимание наших кавалеров. Хорошенькое личико в губернаторской ложе, новая фамилия — обратили на тебя толки и лорнеты. Многие уже готовили тебе фразы и улыбки; другие разузнавали. Издали ты мне показалась очень милой, а когда я тебя увидел поближе, я должен был сознаться, что не обманулся.

Такая ты была молоденькая и свеженькая; так славно смотрели твои чудные глазки; столько юности и чистоты в тебе было. Твой образ, твой взгляд, все то общее впечатление, которое ты делаешь, мне напомнили что-то, чего я кругом не видел. Я не влюблен в тебя только потому, что я не мальчишка. Я не влюблен в тебя, но я затаил, скрытно от других и тебя, твой образ в душе своей и придал ему все остальное своим воображением. Я долго мог после этого вызывать на память твой образ. Я тешился этим в минуты тоски и грусти. В этой форме стало у меня слагаться все лучшее, о чем я думал. Мне хотелось верить, что ты действительно чудная девушка; и если бы для тебя потребовали у меня жертв, я на все готов бы был решиться. Я глупый мечтатель, милая Леночка; но, право, никогда и никто другой не ставил тебя так высоко и свято в эти минуты».

Ей, этой хорошенькой девушке, привлекшей к себе «толки и лорнеты», было семнадцать лет; она только что окончила институт и приехала с отцом и старшей сестрой погостить в Уфу к знакомым. Изящная, миниатюрная, получившая светское воспитание, она имела большой успех в замкнутом дворянском обществе Уфы. Несомненно, моему отцу нетрудно было с нею познакомиться и часто ее видать; губернатор Аксаков, в семье которого она была принята и в ложе которого впервые появилась, был связан с отцом тройным родством. Хотя отец и «выключил себя давно из разряда уфимских кавалеров», но он был очень молод, хорошей фамилии, умен, образован, талантлив, всюду принят.

Но какой же молодой человек того времени, побывавший за границей и томившийся провинцией, чуждался маски «печального равнодушия, после которого кончается молодая жизнь, смолкают пылкие стремления, останавливается движение вперед»? Мешали еще неуверенность в себе, малая обеспеченность и ответственная служба, отнимавшая много времени. Но главное — самолюбие, нежелание оказаться в очереди улыбающихся и говорящих фразы поклонников юной уфимской звезды. Смотреть издали, томиться этой далью, в томлении находить сладость и поверять бумаге свои мечты — разве это не лучшая рамка для родившегося чувства.

«Помню я и всегда буду помнить одну заутреню на Пасху. Я только что оправился от болезни и с радостным сердцем попал в церковь. Признаться, ты не была у меня в мыслях; но Бог знает отчего я был весел. Ты была у заутрени и стояла от меня близко. Ты была хороша, но в этом не было для меня перемены. Молилась ты усердно рядом со своею сестрой. Но вот кончилась заутреня, свечи погасли и началась обедня. Я нечаянно очутился возле тебя, потому что не искал этого случая. Стало темно; ты устала, видимо. Не знаю почему, но я вдруг стал на тебя смотреть иначе. Светская девушка исчезла у меня из глаз, и передо мной действительно стояла моя милая Леночка, которая так часто чудилась моему воображению. Я не мог оторвать своих глаз от тебя. Такая ты мне сделалась милая, так мне хотелось обнять и расцеловать твои ручки и глазки, крепко прижать тебя к сердцу. Ты мне показалась ребенком, но таким ребенком, за которого я отдал бы все на свете. Эгоизма во мне не было в то время; чувства мои были чисты и просты; если бы мне указали тут же какого-нибудь идеального человека и назвали его твоим будущим мужем, тобою любимым, я горячо протянул бы ему руку на будущее счастье и только строго-строго взвесил его качества. Для себя я сберег бы — но нет, что я говорю? Я никому тебя не доверил бы; я окружил бы тебя любовью, окружил бы тебя такими попечениями о твоем счастии, — только бы дали мне возможность самому сделать это счастье».

Провинциальный мирок, где каждый знает каждого, где новый человек, особенно женщина, особенно молоденькая, красивая, светская, долго служит предметом внимания, толков, пересудов. Зимний сезон, театр, клуб, балы, маскарады, любительские спектакли под покровительством помпадурши. Толпа золотой молодежи, шаркунов, бойко болтающих по-французски, и, конечно, свой Чайльд Гарольд, отрицающий это пошлое общество, но неизменно являющийся на балы и спектакли, чтобы со скептической улыбкой и со скрещенными на груди руками простоять весь вечер у колонны.

«Не влюблен, потому что не мальчишка». А сам не сводит, не может оторвать глаз от сцены, где девушка-подросток со смущением произносит слова своей роли, так ей не подходящей. Дома он вынимает из стола свою тетрадку и пишет при свете масляной лампы:

«Чужие и скверные люди пустили тебя на эту сцену; такой молоденькой, неопытной девушке, не имеющей даже определенного положения на свете, и дали такую роль! А между тем как хорошо, с каким верным пониманием исполняла ты свою роль. Ты была так мила, что спокойно сидеть я был не в силах. Каждый шепот во время твоей речи, каждый смех между зрителями — бесил меня. Я едва удержался в толках с некоторыми о пьесе и исполнителях; я вовремя опомнился и убежал, не кончив речи. Мне хотелось защитить тебя и от похвал, и от общего смысла твоей роли, хотелось увлечь тебя с этой сцены, заставить молчать каждое неосторожное слово. Но что тебе в этой защите? Я тебе также посторонний человек и даже более, чем последний из окружающих тебя знакомых. Боже мой, как грустно!»

Наедине с собой — зачем прикрываться плащом равнодушной усталости и «отеческого чувства» к беззащитному ребенку? И пишет рука Чайльд Гарольда:

«Я не досказал еще тебе, Леночка, что я уже люблю тебя и полюбил почти с первого твоего взгляда, как никогда не любил никого на свете. Теперь это слово сказалось, и так ясно и живо стоит для меня, и напрасно силюсь я ему отыскать другое название. Что же теперь делать, моя милая?»

* * *

Та ли она, какою кажется? Имеет ли право он, такой дурной, испорченный, усталый, негодный человек, думать о ней, говорить с ней в своем дневнике, мечтать о более близком знакомстве, о счастье быть замеченным, выделенным из толпы поклонников?

«Если бы я мог взвесить холодным рассудком все будущее, я собрал бы всю волю, весь эгоизм свой; я заперся бы внутри себя и задушил бы в себе это тяжелое чувство».

И разумеется, — «разбил бы свою жизнь и умчался Бог знает куда». О забвении и новом счастье уже не мечтать, уже не создать себе новой жизни. «Лета разве только возьмут свое, и под гнетом их я стану бесстрастен и спокоен. Все кончено к лучшему. Дальше все пойдет так незаметно и постепенно. Сегодня одно разобьется на сердце, завтра другое, там третье, а потом и ничего не будет: холодно, ровно и мертво».

* * *

Страницы и страницы, отданные грустным и трагическим размышлениям о своей ненужности, неинтересности, о муке любви неразделенной и безнадежной.

Уж такой ли безнадежной? Правда, она сказала как-то в случайном разговоре, что «не понимает романтической любви» и что «любить не может никого». Но ведь сказала это девушка семнадцати лет и сказала с таким ласковым сиянием голубых глаз, что у бедного страдальца сразу согрелась душа и забилось сердце нечаянной радостью.

Да, они теперь уже довольно часто встречались. Со всеми оживленная и беззаботная — с ним она была серьезной. Он ее немножко пугал своими рассуждениями о людской пошлости и собственной своей негодности. Со всеми было просто — с ним очень трудно и беспокойно. Случалось даже, что она просила его не приходить, — и он, оставшись дома, писал за страницей страницу, красивыми словами воздвигая надгробный памятник своему неоцененному чувству. Но иногда, наоборот, она, уставши от пустых светских разговоров, сама искала его, странного, не похожего на других, немного волнующего, слишком для нее умного, вызывающего какие-то новые, непривычные вопросы, грубоватого и презрительного со всеми, кроме нее, а главное — несчастного. Любовь женщины часто начинается жалостью, желанием утешить и ободрить. И так же часто маленькие женщины догадываются, что мировая скорбь мужчины непрочна и довольно легко излечивается ласковым словом; только не нужно противоречить и смеяться. Голубые глазки знают свою власть, — но и играть с таким человеком нельзя! Как же быть? И почему он прямо не скажет, чего он хочет от нее, за что ее так мучит слишком серьезными и слишком унылыми разговорами? Он умнее и интереснее других, — но было бы лучше, если бы он был весел, как другие, потому что ведь жизнь так хороша и рано в семнадцать лет мучить себя загадками и вопросами.

«Как я счастлив сегодня, как мне весело и отрадно! Такая ты добрая была, Леночка, такая милая, такая хорошенькая. Ты не оттолкнула меня, ты не засмеялась надо мной после всего, что я сказал тебе, не приняла за фразу мое слово. Ты говорила со мной так хорошо, так искренне. И ты могла помышлять, чтобы я дурно о тебе думал? Ты могла думать, что я нахожу удовольствие тебя мучить? Да разве ты не знаешь еще, что вся моя жизнь, все мое дорогое и прекрасное — в тебе одной? О, я был бы хорошим человеком, если бы ты, Леночка, не отнимала у меня радости и надежды — не быть тебе чужим».

Чередуются в дневнике эти «так счастлив сегодня» и «я так несчастлив». И всегда: «Что же мне делать, что делать?» Сказать о своей любви? Но «по какому праву?»

Это в наше время можно говорить о своей любви хоть накануне ее появления и девушке, и замужней, и той, которая желанна, и той, без которой можно обойтись. На рубиконе же пятидесятых-шестидесятых годов было нужно иметь на это право! Сказать о любви — а дальше? Быть отвергнутым — значит жизнь разбита и исчерпана! Быть выслушанным благосклонно и услыхать ответное «да»? Но ведь для этого...

Кто такой ее отец? Чего хочет он для своей дочери? Человека, по-настоящему ее любящего, или жениха с деньгами и положением в обществе? Зачем-нибудь да позаботился он, не богатый и не знатный, дать дочери тонкое образование и ввести ее в лучшее общество, ей доступное. И кто претендент? Бедный дворянчик, служака, работник, ничем не выдающийся человек? И что за тип этот их знакомый по Варшаве, поляк Г., богач, к которому с таким расположением относится ее отец? Жених? Может быть, она уже любит его или полюбит? Ну что ж!

«Если ты будешь истинно любить Г. — для твоего счастья довольно. О, я тогда, если бы и погиб вовсе для счастливой жизни, — я помирился бы с тобой, и ты навсегда осталась бы для меня чистым и светлым существом, явившимся мне, чтобы осветить хоть на время мое существование. Издали и идеально, мечтательно и грустно я всегда любил бы тебя. Мысль, что тебе хорошо на свете с другим, была бы мне мучительна на время и, может быть, долго; но это не было бы разочарованием и не прибавило бы никакого темного пятна к моей житейской опытности...»

Разбогатеть? Но как? От работы не разбогатеешь, — она и так отнимает весь день. Выиграть в карты?

«Я только что воротился домой. Я сегодня играл и много проигрался; но не мог заглушить тоску свою. Тебя я не видал, а если бы и увидал — разве было бы лучше? Ты была дома, потому что я видел свет у вас в доме. «Верно, у вас Г.», — подумал я; и как ни разуверяла ты меня, и как ни верю я тебе, а все мне стало нехорошо от этой мысли. Кто близок к тебе, того ты скорее полюбишь; кто так далек, как я, того ты любить не можешь. Господи, как грустно мне. Теперь, после этой убитой так пошло ночи, еще хуже, еще пустее кажется на свете, и ничего, решительно ничего, ни малейшей надежды. Нет, я решительно погибаю и оставаться так долго уже не в силах. Пусть гибну».

Последняя буква прижата пером, и черта под отрывком дневника, обильная чернилами, шершавая, разорвала бумагу...

Кажется — все кончено!

Но нет, еще две краткие записи:

«Хорошо мне теперь. Целый вечер я не спускал с тебя глаз и говорил с тобою. Неужели в самом деле я могу быть счастлив?»

«Два нехороших дня. Я решился не писать в эти минуты ужасного состояния и тоски. Я начинаю бояться мысли, что к счастью я не способен. Буду писать теперь только тогда, когда мне хорошо будет. Когда же это?»

Когда же это?

Такова — последняя строчка грусти и безнадежности любовных записей моего бедного отца.

«Судьба этих глупых писем — быть сожженными», — писал он раньше. Но прошло почти семьдесят лет — и аккуратная тетрадочка, исписанная мелким его почерком, озаглавленная на первой странице «Мои бредни», лежит передо мною.

Отец ошибся: тетрадка пережила и его, и эту неприступную и недостижимую Леночку и, может быть, переживет меня, которому она досталась в наследство и во свидетельство того, что любовь не придумана сегодня, что она вечна с вечными своими спутниками: щемящей грустью, сменой очарованья унынием, отчаяния надеждами, с неизменным самобичеванием, мечтою об идеальном и прозой действительности.

Отец ошибался и в другом: любовные дневники пишутся только в минуты грусти и неуверенности, а не «когда будет хорошо». Когда хорошо, когда человек счастлив и любовь его разделена — зачем тогда писать дневник? Зачем писать тайные письма той, которой уже можно все сказать и от нее все услышать?

Чем кончился его роман? Прочла ли Леночка эти не сожженные вовремя записки? Поняла ли их автора, оценила ли? Смогла ли, наконец, полюбить она, «не понимавшая романтической любви» и «не способная полюбить никого»?

Я вижу эту Леночку, с ласковым взглядом голубых глазок, нежную, кроткую, не способную на мучительство. Она смотрит на меня с миниатюрного портрета.

Эта Леночка — моя покойная мать.

Я пишу эти строки глубокой осенью, в деревне, у большого открытого окна. Умирающая зелень за окном, и весь мой домик, и моя комната, и мой стол, и рукопись — все залито щедрым золотом солнца. Я в нем купаюсь, как в расплавленном счастье, как в потоке и сиянии разделенной любви.

Я помню о двух могилах в двух далеких городах России: могилах отца и матери. Одна в Прикамье, на старом, вероятно, уже заброшенном кладбище; другая близ города, у подножья которого течет река Белая. Мне никогда не увидать больше этих разлученных могил.

Сыновним чувством, проснувшимся в этот светлый день, в осенний день моей жизни, я соединяю могилы тех, кому обязан великим счастьем жизни в творчестве. Я ставлю им общий памятник, скромный, незаметный, из пирамиды моих нежнейших слов, осыпанной цветами сыновней признательности, — единственный памятник, какой могу поставить своими руками и своими скудными средствами. Чтобы и мне было, где молиться и что чтить. И было бы это везде и всегда со мною.

Эти строки, пройдя через машину наборщика и свинцовую пыль типографии, прочтутся чужими людьми с любезным вниманием или с привычной рассеянностью. Истлеют страницы этой книги; уйду я; уйдет и все.

Что останется?

Останется, конечно, солнце. И останется, конечно, любовь, идеальная, романтическая, всегда немножко наивная и смешная. Она останется, каковыми бы ни стали люди в массе, каких трезвых слов ни придумали бы, какой обидной улыбкой ни награждали бы мечтателя. Всегда останутся чудаки, рыцари и поэты недостижимого, пишущие дневники о своем любовном томлении, готовые «разбить жизнь свою» за минутное невнимание и «отдать всего себя без остатка» за ласковый взгляд. После — дневники их обрываются, и тогда начинается реальное, хорошее, или дурное, или среднее, незаметное, простое.

Живя этим реальным, они хранят среди старых бумаг и любимых вещичек страницы, писанные ими в ином, нереальном мире — в мире грез об идеальной любви и недостижимом счастье. Прекрасное и неповторимое остается святыней. Листы бумаги желтеют, как желтеют лепестки белой розы, засушенной и спрятанной на память. Но аромат слов остается.

Как хрупкий, засохший цветок, я берегу этот дневник моего отца. На нем почиет святость прошлого, давшего и мне радость жизни, тоску сомнений и счастье любви разделенной.

СЕСТРА

Мое первое воспоминание о любимой сестре соединено с преступлением и наказанием.

Я совершил преступление, и должно быть тяжкое, хотя я его и не помню. Только в совершенно крайних случаях неповиновения и каприза мать моя прибегала к высшей мере наказания: к чулану. Даже странно — чем мог я заслужить такую кару.

Насколько помню себя, я не был в детстве ни большим шалуном, ни озорником, ни революционером; эти черты развились только в зрелом возрасте. Был худеньким, белесоватым, способным и чувствительным мальчиком; любил то же, что люблю и сейчас: красную смородину, книжки и ласку.

Самым сильным и преступным переживанием моего пятилетнего возраста была игра в бабки на дворе, особенно первый крупный проигрыш — сразу десяти гнезд и битка, что стоило не меньше трех копеек. Не за эту ли игорную страсть посадила меня мама в чулан? Если да, — то вот лишнее подтверждение бесполезности исправительных наказаний: я на всю жизнь остался и останусь азартным игроком; мало того — считаю азарт благороднейшей страстью, возвышающей человеческую душу.

Одним словом — мама посадила меня в чулан. Чулан был отличный, теплый, просторный, только темный. В нем стоял большой сундук, на котором было можно сидеть, а на сундуке одеяло, чтобы сидеть было мягче. А чтобы не было страшно, со мной посадили Олю, мою старшую сестру, — ей было тогда уже лет тринадцать. Мы сидели с ней на сундуке и плакали.

Я плакал от обиды, а не от страха. Взрослые люди всегда несправедливы, даже отцы и матери, даже лучшие из отцов и матерей. Если я виноват — накажите, но не оскорбляйте. Чулан же считался величайшим позором и оскорблением.

Никогда в жизни я не стоял в углу. Когда в гимназии, во втором классе, глупый учитель хотел меня поставить — я почувствовал, что сердце у меня сжалось, побледнел, вышел из класса, не слушая окрика, надел пальто и ушел из гимназии; я вернулся в гимназию только через несколько дней, когда мать, переговорив с директором, получила обещание, что никогда никто не позволит себе применить ко мне подобное наказание. Таким я был с самых ранних детских лет.

Чулан дома был, конечно, меньшим оскорблением (карала рука родная!), чем позже — попытка глупого учителя, но все же тяжелым и непереносимым. Поэтому я ревел во весь голос, чтобы этот единственный доступный мне способ протеста был известен всему дому.

Сестра же плакала, кажется, потому, что ей в чулане было страшно (она боялась темноты), а главное — непонятно, почему она должна делить со мной наказание. А может быть, ей было жалко меня, а утешить не было никакой возможности: я рвался и бил по сундуку башмаками.

Думаю, что именно тогда родились между нами близость и взаимное понимание, позже спаявшие нас крепкой и нерушимой дружбой.

Сестра моя была очень красивой — или, может быть, мне такой казалась. Она была бела, высока, черноволоса. А глаза черные, с каким-то особым, необыкновенным красным искристым отливом. Над глазами тонкие дуги бровей, и от этого лицо ее было открытым и вопрошающим. Удивительно приветливое лицо — только губы крупноваты и слишком ярки; в те времена это бросалось в глаза, так как женщины порядочной семьи еще не пакостили губ жирной красной грязью. Волосы прямые, гладко зачесанные назад, где связывались в тугой узел. Сестра казалась и была здоровой и крепкой женщиной.

Она вышла замуж очень рано — в год окончания гимназии, по семнадцатой весне. Мне только что пошел девятый год, когда у нас в доме стал часто бывать красивый белокурый инженер, лет тридцати пяти, обруселый швед, с отличным положением и достаточным состоянием. Для провинциального города — жених исключительный, тем более, что он только что бросил службу на приуральском заводе и собирался начать свое дело в Москве. Все это я, мальчик, знал из разговоров старших и пересуд прислуги. В моих глазах швед был человек необыкновенный уже одним тем, что швед; и я немедленно в него влюбился, и притом искренно, очаровавшись им самим, а не замечательными его подарками — ружьем и набором отличных столярных инструментов. Впрочем, раз любила его любимая сестра — как же мог не полюбить его и я?

Шли приготовления к свадьбе, и это было интересно. По вечерам жених сестры часто у нас ужинал, а когда меня отправляли спать, — из столовой доносились смех и разговоры. И еще помню, как однажды в комнату, где я спал, пришла сестра с женихом, как они сели на стулья против моей постели и будто бы смотрели на меня. Если бы смотрели — заметили бы, что я проснулся и все вижу, — и как он обнял сестру, и как она встала и поцеловала его в лоб. Вообще я видел, что им не сидится покойно и что сестра от него и отстраняется, а сама, вероятно, довольна. Так как мною они не занимались, то я, посмотрев, действительно заснул очень крепко.

Потом была свадьба, но в общем сумбуре тех дней я плохо ее помню. Золотую монету в туфлю сестры клал я, и я же ехал впереди с иконой; но дальше помню только по рассказам, что на розовый шелк первым вступил он — Оля нарочно задержалась. И затем долго мы, брат, сестры и я, напевали: «Гряди, гряди, голубица моя»; вся наша семья была певучей — всегда что-нибудь мурлыкали.

Сначала молодые уехали, потом скоро вернулись и поселились у нас во флигеле, куда поставили большой рояль; в Москву решили переселиться только через год, когда дело там будет основано и пущено в ход. Оле с нами, с семьей, расставаться не хотелось, она была еще совсем девочкой, сейчас из-под родительского крыла. Мама учила ее хозяйству и даже уступила ей на время нашу кухарку Савельевну, умевшую снимать с зайца семь шкурок и подавать его под свекольным соусом. Она и пломбир умела готовить, а уж про пельмени, национальное наше блюдо, и говорить излишне. Муж же сестры был страстным охотником и погостить в наших краях подольше ему нравилось.

О том, что такое «наши края», я бы как-нибудь с удовольствием рассказал особо, — про Каму, про леса, про удивительную нашу природу. Или, еще лучше, встретивши нашего, тамошнего, человека — поговорил бы с ним обо всем этом часок-другой, без лишних свидетелей, без южных людей, которые ничего этого не знают и не понимают. Очень обидно мне, что в коротком и связном рассказе нельзя, как-то не принято делать большие отступления, длинные описания природы; жалко это, потому что нет для меня ничего дороже и приятнее разговоров про наши приуральские края.

Одним словом, имея в семье такого охотника, не раз ели мы оленину и однажды, помню, медвежью ногу. Ружей и рогов в кабинете было без числа, да еще сколько было отправлено в ящиках в Москву.

Туда, в Москву, муж сестры ездил часто, хотя зимой это было сложным путешествием, так как прямого железнодорожного пути не было, а приходилось ехать через Екатеринбург, из Европы — в Азию, а потом опять в Европу, дважды перевалив Уральский хребет. Летом проще — по Каме и Волге до Нижнего. Когда муж уезжал в Москву, сестра приходила ночевать к нам и спала на большой постели с матерью, а отец мой у себя в кабинете, на диване. Я спал в комнате рядом со спальней и по ночам слышал, как мать и сестра долго говорят вполголоса; это мама учила Олю жить.

Особенно много шептались они перед тем, как я стал дядей; к этому дню, памятному мне тревогой и торжественностью, муж Оли, бывший в отъезде, приехал по телеграмме. Он не один волновался: я волновался не меньше. Стать дядей в девять лет — не менее важно, чем стать отцом в тридцать пять.

Как это происходит, я не знал, но точно знал, что вот сегодня это должно случиться, что во флигель ходить нельзя, хотя мама там все время, туда же вызвали доктора Виноградова, туда же ушла вся наша прислуга. Знал еще, что отец будет обедать в клубе, а нам чего-нибудь дадут холодного, вероятно, вчерашней телятины и компоту.

Точно помню, как я в одиночестве пытался протянуть время, развешивая на коврике над постелью монтекристо, лобзик для выпиливания и столярные инструменты. Готовясь стать дядей, я приводил в порядок свою комнату, придавая ей взрослый вид. Кроме того, учился подписывать свое имя с росчерком и солидно ходить по комнате, держа руки за спиной.

Действительно, в этот день к вечеру я стал дядей. Мне сказала это Савельевна, забежавшая и поздравившая меня с рождением племянника.

Потом сестра уехала в Москву, и мои воспоминания о ней переносятся сразу на годы студенчества.

Они жили в небольшом двухэтажном особняке, рядом с фабрикой, где целый день стучал мотор. За огромным двором был сад, сильно запущенный, богатый смородиной и малиной. Улица тихая, а для дальних прогулок был к услугам Сокольничий парк.

Детей было двое — мальчик и девочка, и занималась ими главным образом няня, которую звали по имени и отчеству, так как она перешла к сестре из очень почтенного и сиятельного дома, умела разговаривать и обедала хотя и в кухне, но отдельно, с салфеткой и на особых тарелках для каждого блюда.

К тому времени вышла замуж и другая моя сестра и тоже жила в Москве, так что мне, студенту, было где пообедать, а в случае длительного безденежья — и пожить. У каждой из сестер была для меня комната, и если бы не жажда полной свободы и самостоятельности, — я мог бы оставаться в их семьях; но я предпочитал жить на Бронной, бедствовать, и лишь изредка отправлялся на кормежку к сестрам — на неделю, редко на месяц, когда совсем уже нечем было платить за комнату. Откормившись и отдохнув — опять пускался в плаванье по забавному студенческому житейскому морю.

Младшая сестра жила очень счастливо. Женщина добрая, наивная и простодушная, она отлично приспособилась к тому укладу жизни, который был создан ее мужем, человеком уже немолодым, лысым, тоже простодушным, приветливым, работящим и страстно в нее влюбленным. Он был маленьким фабрикантом, из рижских немцев, говорил по-русски со смешным акцентом, хотя всю жизнь с малых лет прожил в Москве на Садовой улице. Было много вышитых салфеточек, свадебное серебро, часы с кукушкой, библиотека немецких и русских классиков, дочка, собачка, вечерний чай с самоваром, пиво на леднике, тетя Эмма, бабушка Августа Карловна, отличный жирный стол и ни малейшей зависти к людям. Да и завидовать было некому и нечему: не было недостачи в довольстве и взаимном счастье. Я у сестры отдыхал душой, начинал зевать сейчас же после ужина, рано засыпал и поздно просыпался, не торопясь на лекции. Кофе сестра приносила мне в постель и говорила:

— Лей больше сливок, тебе нужно поправляться.

Жить у младшей сестры было так хорошо и уютно, что на вторую неделю у меня, как у Счастливцева в «Лесе», появлялась неотвязная мысль:

— «А не повеситься ли?»

Еще через неделю я укладывал свой чемоданчик, закутывал в газету главную свою движимость — керосиновую лампу — и переселялся в Гирши, в Палаши, в Романовку[1], в комнатешку с клопами, грязно-подолой хозяйкой и беспокойными соседями.

Из буржуазного довольства и благополучия — прямо в царство свободы, богемы, недоедания. Разумеется, все мое белье оказывалось перештопанным заботливыми руками сестры.

Совсем иначе сложилась жизнь сестры старшей, Оли, к которой я также попадал иногда на отдых от житейских недомоганий. Хотя она жила гораздо богаче, но ни радости, ни довольства в доме ее не чувствовалось. Не было главного — не было семьи. Сын ее, уже гимназист, обедал в гимназии, маленькой дочурке не ставили к обеду высокого стула: ее кормила в детской няня.

Когда на фабрике раздавался короткий гудок, прислуга приносила суп, мы с сестрой спускались в столовую, а через минуту приходил инженер, муж сестры, целовал ее в лоб, подавал мне руку, садился за свой прибор, положив справа кучку корреспонденции и газет, наливал себе и мне по маленькой рюмочке, полулюбезно-полунебрежно спрашивал: «Ну, как, скоро ли будут студенты бунтовать?» — и затем воцарялось молчание.

Мы с сестрой никогда при нем не разговаривали, ему было не о чем беседовать с нами. Сладкое приносила няня, неодобрительно смотрела на сестру, подобострастно на инженера, после чего, забрав распечатанные за обедом письма, он удалялся вздремнуть на полчаса в свой огромный, полный книг, приборов и охотничьих трофеев кабинет, — святилище, где он проводил все свободное время и где всегда спал. В этот кабинет даже сестра заходила редко.

Не было семьи у женщины с отличным сердцем и любящей матери. Был муж, были дети, был дом, было хозяйство — и не было семьи.

Я не знаю, как и когда случилось, что стала одинокой мать детей и хозяйка дома. Я застал уже этот холодок отчуждения и ту странную тишину в доме, когда все прислушиваются и никто не окликает другого через комнаты. Шла жизнь, как заведенные часы, и как часы — могла в любую минуту остановиться из-за порчи малого колесика.

Оля любила своих детей и пользовалась их обожанием. Но это обожание было молчаливым, точно дети понимали, что им нельзя проявлять свою любовь к матери открыто, что они должны быть нейтральными. Отец обращался с детьми с особой, присущей ему вежливостью, никогда не шутил, в каждое слово свое вкладывал воспитательное и образовательное значение. Мать старалась быть им товарищем, участником их интересов и игр. Но стены холодного дома строго следили, чтобы не было в доме ни чрезмерной ласки, ни шутливого беспутства, — ничего, что не входило бы в систему воспитания, выдержанную и преднамеренную. Кривая улыбка инженера и неодобрительный взгляд няни пресекали и шалость, и излишек чувствительности.

В доме, в огромном кабинете, жил бог и царь. Его бодрствование, его сон, его настроение духа сообщались стенам, и эти стены отдавали приказ о бодрствовании, о тишине, об умеренном веселье, о часах и минутах обеда, приемов, прогулок, работы и отдыха.

Но в этом маленьком государстве жила — в напрасном звании хозяйки — очень молодая и очень непокорная душа, соблюдавшая все эти законы, но внутренне сгоравшая в бунтарстве. Только она знала, что бог, царь и законодатель имеет два существа, одно — выдержанное и степенное, другое — маленькое и лживое, живущее на стороне и только для себя. За годы жизни Оля знала мужа насквозь, со всей его интимной жизнью сухого эгоиста, позволявшего себе вне дома все то, что строго осуждалось в стенах дома точными и безжалостными сентенциями или молчаливой кривой улыбкой. Поняв — отошла от него, оставаясь ради детей, но сердцем уже очень далеко и в полном духовном одиночестве.

Она была очень молода, Оля, и очень независима душою. Но в те времена, теперь уже далекие, отделенные от нас вечностью, уделом женщины и матери было жить при муже, хотя бы это значило — больше не жить. Она отвоевала себе право не отдавать никому отчета в своей жизни вне дома, — но скрывать ей было нечего, и нечем жизнь заполнить, потому что создана она была для семьи, и светская жизнь ее не тянула.

Мы были дружны — я, безусый студентик, не увлеченный наукой и игравший в разочарованность, и она, которой все завидовали и которая могла завидовать всем. В холодном доме мы не могли вести долгих бесед, да Оля и не любила жаловаться на судьбу. Но понимали мы друг друга с полуслова. Я любил в ней скрытый огонь, она нуждалась в моем раннем, может быть, и напускном равнодушии к людям и вещам.

Дружба наша выражалась странно. Иногда мы ласкались друг к другу, и тогда инженер криво и немного брезгливо хмурился, няня смотрела неодобрительно, точно мы — заговорщики и преступники противу нравственности. Порой увлекались музыкой, которую оба плохо знали и сильно чувствовали. Оля играла, я подпевал ей своим никудышным голосом. Ей нравилось, когда я перебирал клавиши рояля, обязательно прижав ногой правую педаль и фантазируя, совершенно беспомощный сыграть что-нибудь по нотам. Затем мы приступали к постройке волшебных замков: уезжали вдвоем в невероятные страны, населяли их призрачным бытием и думали, кого мы пригласили бы туда делить наше одиночество; но таковых не оказывалось. Тогда мы отправлялись в прекрасный и непризрачный Сокольничий парк, близ которого жили, и там бродили, выкрикивая вздор и пугая встречных своим возбужденным видом. Скучать вдвоем вошло у нас в привычку. В разговорах никогда не касались инженера, но часто обсуждали характеры и будущее Олиных детей, моих племянников; в сущности я сам был еще мальчиком, да и сестру трудно было назвать взрослой; но мы умели быть серьезнее стариков в наших практических беседах.

Так тянулся день, пока не наступало наше лучшее время — ужин вдвоем. Инженер каждый вечер уезжал в Москву (они жили на окраине). Поужинав, мы усаживались за маленький столик и играли в карты. Оба мы были азартны до самозабвения, типичные и беспардонные игроки. Если кто-нибудь к нам приезжал — почти всегда с ночевкой — мы играли в винт и преферанс. Вдвоем играли в скучнейшую из игр — шестьдесят шесть, но играли так, как нормальные люди не играют. Сдавая карты, беря взятки, мы произносили бессмысленные слова, говорили на каком-то собственном сумбурном жаргоне, угрожали друг другу, давали клятвы и лихорадочно ждали полосы счастья. Играли всегда на деньги, которых у меня не было и которые сестре не были нужны; и все же волновались при проигрыше и ликовали, выиграв рубль. Играли мы настолько ровно и так много, что не приходилось почти расплачиваться, да и не это нас занимало. Мы записывали результат, чтобы продолжать игру на другой день.

Часу в первом ночи возвращался инженер и, не заглянув к нам, уходил к себе. На момент его возвращения мы остывали и сидели смущенно. Когда же наверху щелкал ключ его кабинета, игра разгоралась.

Мы играли ночи напролет. Отлично понимали, что это — безумие и бессмыслица, но в этом и был соблазн. Если бы не были братом и сестрой, мы были бы, вероятно, страстными любовниками. Теперь мы только отрицали мир и уходили в свой собственный, искусственно заполненный нелепостью и азартом. Мы вполне заслуживали в эти часы глубокое презрение инженера и няньки. Растрепанные и бледные от волнения, мы быстрым механическим движением сдавали и разбирали карты, неустанно произнося условную чепуху. Часы мелькали, но нам не было до них дела. Иногда ночью просыпался голод, знакомый всем картежникам, и тогда сестра тихо проникала в кухню, отыскивала остатки ужина, и мы спешно ели, не переставая играть и жалея о затраченных на малый перерыв минутах. Я пил пиво и помню, как пролитые на пол капли привлекали маленькое стадо черных тараканов, которых никак не могли вывести в этом старом доме. Тараканы шевелили усами и с изумлением смотрели на нас — но нам было некогда ими заниматься. Мы сдавали, ходили, отмечали, бормотали слова и не замечали времени.

Случалось, что в доме начинали просыпаться, а мы все еще не могли бросить игры. Первой вставала няня и шлепала туфлями мимо нашей притворенной двери; тогда наша бессвязная речь переходила в шепот. Но прислуга уже привыкла к нашему ночному беспутству; мы боялись только, чтобы не застали нас дети, главное, Петя, сын сестры, рано уезжавший в гимназию. Заслышав шаги наверху, мы спешно собирали карты и — если было лето — через балконную дверь убегали в сад, в запущенную его часть, где был круглый зеленый столик и скамейка. Там еще недолго продолжалась игра, недолго, потому что мог зайти сюда кто-нибудь из рабочих фабрики, бывшей рядом. И притом свежий воздух нас трезвил, и тогда сказывалось крайнее ночное утомление. Нужно было только дождаться гудка и начала работ; инженер уходил на фабрику, а мы, смущенно улыбаясь, с опухшими глазами, прокрадывались обратно в дом и расходились по своим комнатам. Во сне нам мерещились карты и самые небывалые комбинации. Вставали к обеду усталыми, вялыми, давая про себя слово не проводить больше таких бессмысленных ночей, удерживать друг друга и быть серьезными. После обеда я садился за курс лекций, сестра занималась шитьем, и мы мало разговаривали. К вечеру оживлялись, ужинали с аппетитом и садились сыграть «только час», самое большее «до двенадцати»; но что стоит слово азартных игроков!

— Давай обсудим!

Этой фразой начиналось иногда наше похмелье. Действительно, я был не крепок здоровьем, а сестра, которая была на семь лет меня старше, лучше меня понимала, что нужно создать в жизни настоящий интерес, что без этого мы пропадем незаметно и нечаянно.

Мы обсуждали. Я признавался, что юридические науки меня не увлекают, что настоящая моя дорога — литература. Сестра говорила, что время, свободное от домашних забот, она могла бы употребить с пользой и интересом, что ее влечет к жизни самостоятельной, хотя бы материально, что она чувствует в себе большие способности и силы. Возможно, что мы друг другу мешаем. Лучше будет, если я вернусь на Бронную в студенческую среду, а она — ну хоть поступит на архитектурные курсы, недавно открытые для женщин, или серьезно займется музыкой, или, наконец, изучит какое-нибудь ремесло, потому что все может случиться в жизни. Или, может быть...

И скоро разговор, деловой и серьезный, переходил в фантастику. Я совершал маленькое турне по Европе, запасался впечатлениями, знакомился с движением европейской мысли, слушал тех профессоров, которых хотел, и дышал временно воздухом свободы. Сестра делалась художницей, устраивала выставку своих картин под мужским, непременно мужским псевдонимом, имела собственную студию, где и у меня была комната для занятий, выступала в концертах, строила дома. Мой первый роман, начатый в Европе и законченный в Москве, имел немалый успех. Сестра прославила себя постройкой здания нового Большого Театра, Биржи и Обсерватории, не считая нескольких образцовых жилых домов, с семейными квартирами, каждая из двух самостоятельных половин — мужа и жены, с отдельными входами. Я мог бы, конечно, и жениться, но не слишком рано. Мир мы завоевали бы вдвоем, идя рука об руку, помогая друг другу.

Но иногда разговоры наши имели и последствия. С приближением экзаменов я и впрямь переселялся в Латинский квартал Москвы или в одну из студенческих трущоб на окраине. Изредка, под праздник, навещая сестру, я заставал ее за роялем, за тяжкими и бесконечными упражнениями, усталою и довольною. А однажды ноты сменились чертежами, — сестра действительно поступила на архитектурные курсы.

В характере ее было много настойчивости и выдержки. Так, например, она никогда не позволяла себе уныния или нервности при своих детях. Время от времени она подтягивала дом, углублялась в хозяйство и даже подчиняла себе няню, заставляя ее исполнять в точности свои распоряжения. Она умела быть — когда требовалось — любезной и внимательной к гостям, своим и мужа, устраивала образцовые приемы, поражала вкусом своих туалетов и изысканностью стола. Инженер, при посторонних, был с ней не только галантен, но и нежен, подчеркивая семейственность, которой в обычное время не было и тени. В такие дни я искренне ею восхищался и кротко выслушивал ее упреки и выговоры за плохой вид, за равнодушие к людям и напускное чайльд-гарольдство. Но для меня она была хороша и мила всегда, и в дни ее благоразумия, и в ночи нашего бессмысленного картежничества.

Архитектура увлекла сестру, и в два года она окончила курс — одна из первых русских женщин. Талантливая во всем, она сразу выделилась. В то время вряд ли могла женщина сделать карьеру на таком «мужском» поприще, но если могла, то первой кандидаткой могла бы быть Оля. Этого, однако, не случилось.

Она показала мне полученный диплом и лестное письмо от старого архитектора, приглашавшего ее в помощники. Я в то время кончал университет. Была самая подходящая минута развить одну из наших самых фантастических жизненных программ.

— Что ты ответишь?

— Не знаю.

— Нужно соглашаться. Начнешь, а там пойдет.

— А если я опоздала...

Она сказала это тихо, и глаза ее ушли далеко.

— Не то что опоздала, а боюсь, что это не то... понимаешь? Не то, что мне нужно.

— А что тебе нужно, Оля?

— Не знаю. Знаю только, что было нужно когда-то, а теперь — все равно. Теперь у меня дети, которые скоро станут взрослыми. Петя переходит в четвертый класс, Катюша в институте.

— А что же тебе было нужно, Оля? Почему ты никогда об этом не говорила?

Она не сказала мне и в тот раз. Я же был таким мальчишкой и так не умел видеть в ней женщину. Это была моя сестра, мой товарищ, спутник безумств и фантазерства. Но я совершенно не думал о том, что моя сестра молодая женщина с неудачно сложившейся личной жизнью, что у нее могут быть свои женские желанья, мне неведомые, что сказать о них она не может никому и менее всего — такому мальчику, брату, хоть и другу.

У нее не было семьи — лишь тень семьи; но у нее не было и любви — лишь в прошлом тень любви, рано обманутой и быстро прошедшей. Этого я долго не знал и не понимал.

Понял я это позже, даже не знаю точно, когда: в последние ли годы нашей дружбы, или сегодня, за этими строками воспоминания.

Встало в памяти моей много мелочей нашей совместной жизни. Все же не всегда мы сидели дома, фантазировали или картежничали за полночь. Иногда мы с сестрой «выезжали в свет», иногда она навещала меня в моих, более чем скромных, вернее — бедных, вечно менявшихся студенческих комнатешках.

Мы были одного роста и любили ходить под ручку. По взглядам прохожих я видел, что они завидуют мне, бледному и безусому студентику в достаточно выцветшей фуражке. На балах и в концертах на нас оглядывались, и так как нам обоим это доставляло удовольствие, то мы часто дурачились и изображали из себя влюбленную пару. Я был блондин, сестра — яркая брюнетка; что общее внимание привлекает она, а не моя довольно жалкая фигура, я, конечно, не сомневался и тем более гордился ею. Но плохо сознавал, что внимание толпы действует на женщину, что красота как бы обязывает ее не быть слишком недоступной, дарить от своих щедрот и своего богатства. Не потому ли сестра так и держалась за меня, никуда меня не отпуская, почти ни с кем не знакомясь, что она боялась людей, смотревших на нее с жадным любопытством? Одевалась она прекрасно, но всегда немного вызывающе; никогда не подчинялась своим портнихам, сама перекраивала принесенные ими платья и умела каким-то ей одной ведомым художественным броском делать свой туалет оригинальным и непохожим на все другие. Она уверяла, что тратит на свои костюмы до смешного мало, но все считали ее транжиркой и франтихой.

Она страстно любила танцы, но танцевала только со мной. Ее изящество и моя нелепость неизменно привлекали общее внимание, и часто в танцах мы оставались одной парой, — остальные расступались и смотрели на нас, — с восхищением на нее, с насмешливой улыбкой на меня. В то время вошли в моду такие фигурные танцы, как миньон, па-д-эспань, па-де-патинер, и усердно еще отплясывали мазурку. К Оле подходили и приглашали, но она соглашалась редко и очень смущалась, танцуя гораздо хуже, чем со мной. Ни один бал не проходил без маленьких приключений; какой-нибудь кавалер с энергичным профилем добивался, чтобы его представили Оле, суетливо ее преследовал, с ненавистью смотрел на меня и проявлял такую настойчивость в ухаживании, что нам приходилось незаметно скрываться и уезжать. Мы хохотали, изображали друг перед другом его лучшие позы и его горящие взгляды, и Оля уверяла меня, что при первой случайной встрече этот господин вызовет меня на дуэль.

Часто нас окружала толпа студентов — моих приятелей. Оля была с ними мила и любезна, они были поголовно в нее влюблены, — но все это были мальчики, такие же, как я, и не среди них мог найтись человек, к которому она могла бы отнестись серьезно. Я видел все-таки, что ей нравился «студенческий хвост» и такое явное обожанье. Нечего и говорить, что в присутствии приятелей я был с ней особенно нежен и даже немного небрежен: приятно быть братом и другом такой женщины.

Иногда она навещала меня в моей студенческой берлоге. В день ее визита я созывал своих приятелей, и мы, до приезда ее, успевали фантастически украсить мою комнату. Пускалась в ход рогожа, заменявшая ковры и гобелены, на лампу делался изумительный абажур с карикатурами, входную дверь мы обращали в триумфальную арку, обив косяки цветными моими носками со штопаной пяткой, навесив галстуков и сделав над входом вензель Оли из карандашей, ручек и перьев зеленого лука. Мы встречали ее торжественным маршем, исполненным на гребенках и окарине, и усаживали на стул, обращенный в престол. Вишневая наливка и пиво были угощеньем; закуской для нас была вобла, для гостьи — пирожное от Филиппова; впрочем, Оля редко приезжала без корзины фруктов или большого торта.

Она была нашей царицей. После лакомств и чаю мы играли в винт и обычно обыгрывали царицу по маленькой; но если выигрывала она, мы проигрыш наш записывали на бумажку.

Я думаю, что ей, Оле, было с нами весело; во всяком случае она забывала на время свое невеселое.

Однажды мы с сестрой «выехали в свет» — отправились слушать цыганский концерт. Едва разыскали мы свои стулья и сели, как мимо нас в передние ряды прошел улыбающийся инженер с полной, несколько вульгарной дамой. Я взглянул на Олю и увидал, как она покраснела и сжалась. Я спросил:

— С кем он?

Она ответила, принужденно смеясь:

— С ней; с этой дамой. Я не думала, что он так долго будет ей верен, — кажется, уже второй год.

Это был единственный раз, когда сестра моя так откровенно высказалась о муже; мы о нем почти никогда не говорили. В голосе ее не было и тени ревности — только некоторая смущенная брезгливость. В первый антракт мы уехали; я сам предложил Оле, сказав, что концерт, по-моему, скучен, и она согласилась с радостью. Инженер не видел нас.

* * *

При всей напускной разочарованности, я не был чужд некоторых увлечений, свойственных возрасту. Не помню, как дошло до сестры о каком-то моем маленьком любовном похождении; может быть, разболтали осведомленные и нескромные мои приятели.

Она была поражена.

— Как странно это, — сказала она мне. — Мне как-то не приходило в голову, что ты уже мужчина; мне все еще казалось, что ты мальчик. Понимаю, что ты мог влюбиться, но я не представляла себе, что ты такой же, как все... по отношению к женщинам.

В сущности, по студенческим понятиям, я не совершил ничего неладного, скорее даже мог назваться молодцом. Любовное приключение без наличности любви — чего же тут дурного? Но слова сестры очень меня смутили. А она продолжала:

— Да, вы все одинаковы, даже ты. Вероятно, это естественно. Впрочем, это естественно, кажется, и для женщин, хотя я никогда не пойму, как это возможно.

Подумавши, прибавила:

— Теперь ты стал для меня совсем другой, взрослый, что ли. Пожалуй, я могу тебя больше уважать; но только ужасно странно.

И правда, с той поры сестра стала относиться ко мне как бы серьезнее, почтительнее; часто на меня смотрела с любопытством. Но уже не обнимала и не ласкала меня по-прежнему, — и я чувствовал, что не имею на это права.

Оля была до изумительности моложава; не верилось, что она мать семейства; ее скорее принимали за старшую сестру гимназиста, ее сына. И не только моложава, а столь же и молода. Жизненности был в ней непочатый край, а радости природной хватило бы на нескольких девушек. Но ежедневно и ежечасно радость эта наталкивалась на великолепную холодность и скуку дома, на отзвук однажды разыгравшейся драмы, подробностей которой я не знал. Что-то когда-то она решила — и решению своему никогда не изменяла. Мужу своему она продиктовала договор, пункты которого были священны и нерушимы; может быть, он сожалел и надеялся на силу времени, — но время оказалось бессильным, и ему пришлось примириться. Жертвой же этой твердости оказался не он, а она: мужчина легче и проще умеет приспособиться в любых условиях. Оля, цельная и прямая, брезгливая к компромиссам, приспособляться не умела так же, как и забывать.

Кажется, я понимаю ее мысль, бросившую ее к детям:

— Неужели и они, Петя и маленькая Катюша, вырастут и станут такими же?

Как-то вдруг случилось, что она перестала выезжать, не появлялась царствовать в моей берлоге, забросила музыку, чертежи, модные выкройки, даже не с прежней охотой играла со мной в шестьдесят шесть и никогда не засиживалась:

— Я хочу завтра пораньше встать, чтобы напоить Петю кофе перед гимназией.

Теперь, навещая сестру, я часто заставал ее за беседой с детьми, с которыми у нее завязалась какая-то особая, серьезная дружба, в особенности с Петей, гимназистом; иногда к Пете приходили товарищи, и сестра подолгу разговаривала с ними о гимназии, о книжках, не как старшая, а как равная, вспоминая своих учителей и разные мелочи своей гимназической жизни. С ними она ходила в сад стрелять в цель из монтекристо и обсуждать возможность путешествия в Америку. С девочкой же она больше занималась рукоделием и хозяйственными вопросами, и странно было мне видеть их обеих озабоченными и серьезными за разборкой белья, принесенного прачкой, за проверкой счетов мясной и булочной, за вышиванием меток и подрубаньем носовых платков.

Когда я предлагал сестре сыграть в карты или пойти погулять в парк, она с удивлением подымала глаза от работы и говорила:

— Сейчас гулять? Да у меня половина белья не перештопана, и вообще множество дел; мы с Катей торопимся кончить к завтрему.

— Няня это лучше вас сделает.

— У няни болят глаза, да и нельзя же все на нее сваливать.

— Скучища у вас!

— А ты бы что-нибудь почитал нам вслух; или иди, погуляй один, а мы тем временем кончим вот эту кучу белья.

Наедине я говорил сестре:

— Ты стала домовитой; так ты себя совсем замаринуешь.

Она отвечала:

— Я этого и хочу. Я уже не молода и пора мне принадлежать детям. Я так подружилась с ними за последнее время. Петя рассказывает мне про все свои недоумения, — у мальчиков так много мыслей и сомнений. Вчера мы говорили о религии, это так интересно; он говорит, что не верит в Бога. Я пробовала Бога защищать, но ведь я тоже не очень верующая. И мы с ним решили заменить Бога разумом, но так, чтобы не мешать другим верить, как им хочется. Петя снял со своей кровати образочки и отдал их Кате, которая, наоборот, очень усердно молится. Но он над нею не смеется и ее ни в чем не разубеждает.

— К чему ты их готовишь?

— Ни к чему не готовлю. Пусть они сами додумаются, я им мешать не стану. Мне хотелось бы только, чтобы они смотрели на жизнь просто, без особых надежд и напрасных очарований. И знаешь, — они уже многое понимают так, как мне в их возрасте и не снилось.

Мне кажется, что они будут счастливее меня. И метаться не будут — сразу найдут свою дорогу.

Но случалось, что я заставал сестру в ее комнате, без работы, без книжки, лежащей на кушетке, вялой, с опухшими глазами. Она говорила, что ей нездоровится, но я знал, что болит у нее душа, что у нее припадок той тоски, которую раньше она лечила нашим смешным карточным азартом, или танцами, или своими занятиями архитектурой и музыкой. Теперь все это уже не действовало, а других средств гнать тоску не было.

Однажды, подойдя к зеркалу, она сказала:

— Хочешь посмотреть?

Вырвала волос и показала мне — мертвый и белый.

— Ты думаешь, это — первый? Нет, у меня их много.

— И все-таки ты, Оля, еще очень молоденькая.

— Нет. Лицом пожалуй, хотя тоже... Но вообще я — старуха, старше няни. Так мне и надо, так и надо.

— Почему?

Но она повторяла:

— Так и надо. И давно пора. В сущности, я даже уже привыкла.

Я взглянул на нее внимательно. Она была очень молода и очень красива. Но я не решился сказать ей сейчас об этом. Она могла спросить: «А зачем мне это?» — и мне было нечего ей ответить.

Жизнь завертела меня в кругах, куда Оле доступа не было, да она и не увлеклась бы моими новыми знакомствами и новыми интересами: ее никогда не увлекали утопии, она жаждала жизни реальной.

А завертев — жизнь отбросила меня далеко от Москвы и даже от России. С сестрой я переписывался очень редко. Мы и раньше, расставаясь надолго, как бы забывали друг о друге, несмотря на давнюю близость и дружбу. Чаще писал мне ее сын, уже ставший студентом и немного влюбленный в меня, как «политического страдальца». Из его писем я знал, что никаких перемен в жизни их семьи нет, что Катюша кончает институт, нянька все еще жива, а мама по целым дням читает и редко выходит из дому. В одном из писем он прибавил, что у мамы, по-видимому, рак и что ей будут делать операцию.

Я тогда жил в сказочной обстановке, у южного моря, в старой вилле, утонувшей в зелени огромного сада. Была у меня своя сложная личная жизнь и зачиналась та жизнь творческая, о которой я мечтал когда-то в разговорах с сестрой и для которой всегда было достаточно серьезных препятствий. С годами я стал работником, с трудом выколачивал свой хлеб, и счастье легкой жизни в искусстве, только в искусстве, не стало моим уделом, — да будет оно суждено другим, более балованным жизнью. Но нельзя, живя среди красоты, не быть ее пламенным поклонником, — и я урывал у подневольной и скучной работы минутки для себя.

Здесь получил я известие о смерти сестры, моего лучшего и единственного в жизни друга: она умерла от рака, после долгих, многомесячных страданий. Письмо было кратко, и бумага была окружена черной полоской.

Я уже давно потерял мать, еще более давно отца, незадолго перед тем брата — и очень многих близких друзей, совсем молодых, погибших в расцвете сил и здоровья, в прекрасной и наивной мечте сделать счастливым все человечество. Вести о смертях так часто получались в моем земном раю, среди роз, лилий, пальм и кипарисов, что я к ним привык — да не оскорбит это слово более чуткие сердца. Наши тогдашние сердца загрубели и покрылись мозолями от частых прикосновений смерти; где-то в глубине откладывалось горе, но наружу не выходило. Трудно это объяснить, — поймут только те, кто то же испытал в дни бурь позднейших.

Траурное письмо из Москвы меня ударило, но не поразило. Мне странно и как-то страшно вспомнить, что в тот день я купался, бродил по террасам сада с блокнотом и карандашом и искал лучших слов для лучших мыслей. Только ночью, оставшись один в заброшенной домашней капелле, где был у меня стол и где я до света работал, — я ясно вспомнил, чем была для меня сестра, эта прекрасная женщина, жаждавшая жизни и не нашедшая ее до минуты ранней мучительной смерти.

Ночь была лунная. Я вышел в сад, сорвал несколько высоких белых лилий и, вернувшись в капеллу, положил их перед статуэткой каменной напрестольной Мадонны, рядом с которой лежали мои тетради и рукописи.

Но этого было мало — это было только воздаянием памяти сестры и друга. Я вышел снова и спустился к скалам.

Там, на скалах, были заросли тростника у маленького источника, вытекавшего из камней. Если раздвинуть руками тростник — можно было пробраться к ручейку холодной воды.

Вода сочилась из ниши, промытой годами, и в нише росла всегда влажная мелколистая трава — зеленые листики на тонких прочных нитях, растущие веером. Итальянцы зовут эту траву Capelvenere; за ними и мы называем ее — Волосами Венеры.

Вот эту траву я принес в капеллу, где над моим столом была вделана в стену каменная раковина для святой воды, служившая мне складом для разных мелочей — карандашей, перьев, сломанных вещиц, которых некуда и жаль бросить. Все это я вынул и налил в урну свежей воды. Сюда положил я траву, сорванную у источника, — и это было священной данью памяти женщины.

Повяли лилии, высохли Волосы Венеры. Есть свой срок для больших чувств и даже для красивых слов. Не всякий, рожденный для любви, любовь свою находит, потому что время не ждет, а усталость подкрадывается к нам незаметно.

КУЗИНЫ

Из письма, пришедшего из невероятной дали, опоясавшего полземли, прежде всего выпала пожелтевшая фотографическая карточка молодого человека, с очень знакомыми чертами лица и с отличной копной шелковистых волос. В шестидесятых годах носили длинный сюртук при светлых штанах в мелкую клетку, а жилет кончался на талии. На обороте карточки помечено «1863». Молодому человеку на вид лет тридцать, значит, он родился приблизительно сто лет тому назад. Несмотря на устрашающую дату, я тотчас догадался, что это — мой отец. Письмо подписано неизвестной мне фамилией, но и это разъяснилось: я просто не знал мужней фамилии двоюродной сестры, с которой не видался и не переписывался ровно сорок лет. За это время в мире и наших личных жизнях кое-что произошло.

Вслед за тем из уголков памяти начали выплывать старомодные тени, притворяющиеся молодыми: целая плеяда девиц, и хорошеньких и некрасивых, под общим названием «кузины»; за молодежью — несколько пожилых лиц, за ними две очень ветхие старушки. Потом я увидел столь же ветхий дом, другой посвежее, глубоко провинциальный город на большой реке, — и еще другую реку, поменьше, но быструю и удивительно красивую. Какой-то молодой пианист играет собственные композиции; потом кузины поют хором, а я стараюсь подтягивать. Ночь у костра на берегу реки. Кладбище. Сам я — в летней гимназической блузе, подпоясанной кушаком, а волосы вихрятся — как на карточке, которая давно утеряна, но в памяти осталась.

Река — Белая; поменьше — Дёма; город — Уфа; время — рубеж восьмидесятых и девяностых годов. Нет гравюрной отчетливости, скорее — прозрачные акварели. Вероятно, многое, многое стерлось и спуталось в памяти, остались не факты, а впечатления. Конечно, они мне очень дороги.

Но начать нужно с другой реки, полноводной и немного мрачной. По ней сверху бежит пароход, и не легко увести меня с палубы в рубку обедать. Впрочем, и отец наслаждается воздухом и речным простором: выветривает из себя пыль канцелярий и судебных зал. Мы по рождению степняки, лесняки и рыболовы — все сразу; вообще — люди земли, а не комнат; люди снега и высоких берегов. После первой книжки, «Робинзона в русском лесу» [1], моей второй любимой и затрепанной были «Детские годы Багрова-внука» и того же автора «Записки об уженье рыбы». А в его «Семейной хронике», к девяти годам также прочитанной, отец пояснял мне каждую страницу, а про имена говорил: «Вот этого я знал, а эти были нашими соседями». А главное, говорил: «На Дёме мы с тобой побываем и рыбку половим!» И тогда Кама казалась мне уже не самым важным, а самое важное впереди.

В Пьяном Бору пересели на маленький и плоскодонный пароходик, но и он застрял было на перекате. Пришлось пассажирам версты полторы идти по берегу, где были такие буки и вязы, каких я, привыкший к лесу хвойному, никогда не видывал: раздвину руки, обниму ствол в три-пять приемов и кричу отцу: «Папа, пять больших обхватов!» А он: «И побольше увидим!» Сам он будто бы спокоен и равнодушен, а в действительности радостен и горд за лес, за реку и за нас обоих, потому что все ближе к Уфе, а Уфа — его родина.

Но, конечно, я не ожидал, что бабушки бывают такими маленькими, почти одного со мной роста! Когда звали в столовую обедать, я вел бабушку под руку — и мы были отличной парой. Я считал, что бабушке лет сто, но немного ошибался. Спина ее выгнулась в дугу, а с креслом она совсем сливалась. Все, что было в ее доме, было низеньким, круглым и пухлым. В комнатах было темновато и очень тесно от мебели. А больше ничего и не помню в этот первый приезд в Уфу. Однако множество кузин было уже и тогда — только разбирался я в них еще туго и был им совсем неинтересен. И побыли мы, кажется, недолго.

А вот года три спустя, при вторичной поездке, я считал себя уже опытным путешественником, — к тому же я успел перейти в четвертый класс, так что какой же я мальчик, самое меньшее — юноша! Теперь не отец вез меня, а я вез отца, тем более, что он очень постарел и ослабел после тяжелой болезни. В Пьяном Бору, при пересадке на бельский пароход, пришлось долго ждать на пристани, почти сутки: я успел набегаться, даже побывал в лесу, на самой круче, откуда виден целый прекрасный мир. С пристани опускал в воду нитку с простым булавочным крючком — и рыбы бросались такой толпой на крупную муху, что, мне казалось, выставляли головы из воды. По жестокости малого возраста, я их вытаскивал, а потом отпускал на волю. Отец, наверное, пожурил бы меня за это, но он был сейчас ко всему безучастен; в дороге простудился и об одном мечтал — скорее бы доехать! Пошел дождь — стало сыро. Насилу дождались парохода, и матрос, перетащив наши вещи, помог мне отвести отца в каюту.

Опять ехали по Белой — а в это время цветет сирень. Люди садов, оранжерей и букетов знают запах цветов, но еще не знают, что воздух может быть пропитан им от земли до облаков на сотни верст. Многого не знают люди города. Отцу стало получше, он выходил на палубу, смотрел на берега и говорил: «Непременно поскорее съездим в наше имение; вот увидишь!» В первый приезд мы не собрались, — да, кажется, и смотреть там было нечего; в этот ему захотелось. Накануне рокового дня тянет человека к своей земле.

Может быть, и бабушку тянуло — теперь ее уже не было. И не было старого городского дома; кажется, он сгорел после ее смерти. Остановились мы у сестры отца, на улице, поразившей меня названием: Старо-Жандармская! Отец был либералом и юристом, и слово «жандарм» у нас в доме считалось неприличным.

Ни в какое имение поехать не удалось: отец опять слег. «Своей» земли я так никогда и не видал, она скоро была продана; а «своих» бывших крепостных видел. Видел, во-первых, суетливую старушку — няню, которая жила в семье другой тетки, ведала хозяйством и на всех ласково ворчала. И еще приехал из деревни старый повар невероятных лет и свертел нам мороженое. Меня он поцеловал в плечо — и я был так изумлен, что не знал, что мне делать. В наших краях, в Приуралье, не было ни помещиков, ни крепостных, так что и следов прежних отношений не могло сохраниться. В доме же нашем, хотя и чиновничьем, считалось праздником 19-ое февраля, конечно потому, что отец в молодости много работал над проведением крестьянской реформы и судебных уставов. И потому мне в двенадцать лет крепостничество казалось древнейшей историей, от которой остались два креста в футляре, лежавшие в левом ящике отцовского письменного стола. Чудно было теперь видеть живых ископаемых! Мне велели подать повару руку и поцеловать его. Он пробыл день и уехал, — только посмотреть на нас и приезжал.

Вообще же я с увлечением читал Надсона, книжку которого нашел в домашней библиотеке. Мне одинаково нравились его стихи «Глухо стонет вьюга, стонет и рыдает» и шуточное «Пр-чтя только что твое посланье, я пр-ник в значенье беглых строк» или «И по ним гуляют дрофы, чутко уши настр-жа». Впрочем, в то время не было книги, к которой немедленно не прилипали бы мои глаза. С книгой я уходил в сад, появляясь к обеду и ужину. Не понимаю, как случилось, что я не догадывался о тяжелом положении отца. Он лежал недели две, тут же дома его оперировали, и однажды кузина Тоня позвала меня:

— Миша, ты пошел бы к папе!

Я пошел, сел у постели и продолжал читать Надсона, который меня трогал своей чувствительностью почти до слез. И опять кузина шепнула мне: «Посмотри на папу!» Я посмотрел — и встретился с его глазами, обращенными ко мне. Говорить он не мог, только смотрел, то на меня, то на родных, окруживших постель. Больше я уже не отрывался от его лица. А когда на лице появилось синее пятно и глаза полузакрылись, я протянул к ним руку, не знаю зачем: чтобы их открыть или чтобы закрыть. И тогда меня увели. Кругом плакали, а я замер в первой встрече со смертью. И двух дней до похорон я не помню. Только слабо помню, как я проснулся на рассвете, открыл глаза и увидал рядом отца в его большой постели — как обычно. Но едва я привстал, — постель исчезла. Мне было очень страшно.

На похоронах было много народу, но мне запомнился только один очень старый и почтенный человек, который подошел ко мне, вежливо раскланялся и подал руку. Так с мальчиками не кланяются, — ведь я не знал, что люди старого воспитания одинаково изысканно-вежливы и с взрослыми, и с детьми. Мне сказали, что это старый друг отца, сам бездетный и очень богатый, и что он будет просить мою мать меня усыновить и сделать своим наследником. Его фамилия была мне знакома по «Семейной хронике» — как еще несколько фамилий, которые и теперь назывались. Но я не понял, как можно стать чьим-то сыном, когда умер отец?

Не поняла этого и моя мать, которая приехала лишь на другой день после похорон — ее задержали три дня пути. О смерти отца она еще не знала. Мы выехали ей навстречу и, опоздав к пароходу, повстречались с ней на тогда еще не застроенной дороге, близ самого кладбища. Мы сошли с извозчиков — и мать все поняла по нашим лицам. Нельзя рассказывать, как это было. Вместо дома мы, оставив экипажи, прошли на кладбище на могилу отца, покрытую венками.

Мать оставила меня на лето в Уфе; к осени вернусь один, что тоже замечательно и указывает на признание моей самостоятельности.

Горе в юности проходит быстро: к тому же тысяча кузин окружила меня заботами. Действительно, их было так много, что я путался в именах. Может быть, и не все были кузинами, а часть только их подругами. Во всяком случае, среди них были Маня, Манечка и Маруся, причем Маня очень обижалась, если ее называли Машей; так и поступали, когда хотели над ней подшутить. У Мани были прекрасные волосы, и она их не стригла; но Женя, например, была уже стриженой, так как была студенткой-медичкой, то есть, по-тогдашнему, нигилисткой. Хотя я не уверен, что все кузины и их приятели и приятельницы были нигилистами, но кто-то мне об этом сказал; и в своем представлении я тогда же отметил, что нигилисты — молодые, веселые и очень приветливые люди, любители хорового пения, катания на лодках и дружеской болтовни. Так как я был значительно моложе всех, попросту — мальчишкой, то имел надобность в покровительстве. Покровительниц я нашел несколько, держаться же старался ближе к Мане, в которую влюбился.

Делаю в памяти огромный скачок вперед, — в тридцать лет. Москва 1921 года, жизнь голодная, кошмарная и опасная. В доме далеких родственников спрашивают, хочу ли я повидаться с моей кузиной Маней. Конечно, хочу, я никогда ее не забывал! Входит очень пожилая, полуседая, но все еще красивая женщина. Целуемся, говорим на «ты». Я недавно выпущен из чекистского тюремного приюта, она постоянно живет в Кремле, — жена высокого сановника[2]. Оба стесняемся. Она спрашивает:

— Ты нас не навестишь?

Я отвечаю:

— Мне всегда приятно тебя видеть, хочешь — здесь, хочешь — у меня. Но ты понимаешь, что в Кремль я не приеду.

— Ты нас отрицаешь?

— Родных я не отрицаю, а с «вами» у меня нет общего.

Мы вместе выходим, и она спрашивает:

— Но подвезти тебя можно?

Мы садимся в прекрасный автомобиль и едем из Казенного переулка в мой милый Чернышевский. Тут прощаемся, и я выхожу.

— Так как же, увидимся?

— Как хочешь, я всегда рад и всегда дома.

Увидеться не удалось, — скоро я был опять арестован и выслан в Казань, потом за границу. В Берлине получил открытку: «Мы здесь проездом, хочешь ли повидаться?» Открытка пролежала в редакции газеты, и мы не увидались. Уж очень различны были наши судьбы.

Но в то время, в Уфе, Мане было лет семнадцать, мне — двенадцать, и мы еще не стали ровесниками. О влюбленности моей она, вероятно, не подозревала.

На нескольких лодках подымаемся вверх по Белой. Течение настолько быстро, что и при сильных гребцах лодки почти стоят на месте. В нашей гребец особенный — силач, каких мало; он умеет подымать за переднюю ножку старинное мягкое кресло, а меня держит в воздухе на вытянутой руке. И мы, наконец, достигаем устья Дёмы.

Тут замирает мое сердце, воспитанное Аксаковым. Наизусть помню: «Величавая, полноводная Дёма, не широкая, не слишком быстрая, с какою-то необыкновенной красотою, тихо и плавно, наравне с берегами, расстилалась передо мной. Мелкая и крупная рыба металась беспрестанно. Сердце так и стучало у меня в груди, и я вздрагивал при каждом всплеске рыбы, когда щука или жерех выскакивали на поверхность, гоняясь за мелкой рыбкой». И как потом Сережа — Сергей Тимофеевич — поймал свою первую плотичку: «Я весь дрожал, как в лихорадке, и совершенно не помнил себя от радости». А потом мать не хотела его отпустить, — уж слишком он волнуется: «Я не знаю, что бы сделалось со мной, если бы меня не пустили. Мне кажется, я бы непременно захворал от горя».

И, нужно сказать, действительно прекрасна была река Дёма! Лодки мы оставили под крутым берегом, а так как уже темнело, то разложили костер прямо под могучим буком, так что получилась как бы освещенная пещера, — огонь костра едва достигал до нижних веток.

Тут провели теплую ночь. Спускались на воду, в лодке подъезжали к огромной коряге, застрявшей в течении Дёмы, и высаживались на ее корявые корни и ветви, — сразу человек десять. При луне это было удивительно. А с берега бросали в Дёму большие головешки; они крутились в воздухе, сыпали огонь и с шипеньем хлюпали в воду.

С нами и молодой «композитор». Он раздобыл где-то двух старых киргизов, привел их к костру и заставил петь, — а сам записывал мотивы. Киргизы, защурив глаза, тонкими голосами тянули свои рулады, — и вот до сего дня, спустя сорок лет, я помню не только мотив, а и слова, смешные и непонятные, одной их песни. Окончив куплет, они открывали глаза, изменяли лицо, смотрели как бы изумленно и опять защуривались.

Потом мы, конечно, пели хором и песни веселые, и песни «гражданской скорби»:

Прогремела труба, повалила толпа...
Впереди идет поп, а за ним несут гроб...
Где ж преступник? А вот, он за гробом идет...
И топор заблистал, и палач показал
Ту головушку неповинную...

Домой едем утром, и, конечно, я в лодке

сплю. Так пахнет цветущей липой, что кружится голова.

Что вы сделали с мальчиком! Навек отравили его речным и липовым духом, а жить ему придется в больших городах.

* * *

Нет, отрава вошла раньше — в самом первом детстве. Улица, на которой я родился, одним концом упиралась в Каму, другим в лесную опушку. И жизни настоящей, прекрасной и значительной, я никогда, ни прежде, ни теперь, не мыслил без реки, полей и лесов. Это не «вкус» и не «поэзия»; это — человеческая природа, которой не переборешь, — да и не нужно. Годы, прожитые в окружении памятников древности и красот Возрождения или в центрах европейской культуры, со всем, что они дали и могут дать дальше, — эти годы из жизни все-таки похищены, след их в морщинках лба, а не в сердце. Люди говорят на разных языках, — законное их право; но противен язык моторов и граммофонов, и мертва кинолента, мчащая волжанина по Миссисипи, не потому, что это чужая река, а потому, что не река, а картина. И только Слово, художественное слово может иногда, и лишь в некоторой мере, быть заменой живого видения.

Книги я пожирал; прямо от Аксакова перебросился к Тургеневу, тоже охотнику и священнику в храме Природы. Но уфимские кузины на прощание подарили мне толстую книгу в желтой обертке, которую, для важности, я брал с собой на палубу парохода, — да так до самого дома и не мог одолеть первых страниц. Эта книга была «История цивилизации в Англии» Бокля[3]. Я должен был ее читать, чтобы развиваться и направить мысль на разумные пути. Но пришлось лет пять побродить по путям окольным, пока Бокль показался мне достаточно занятным, и я проглотил его, не разжевывая и без надежды вполне переварить.

Пока же ждали грибная осень и зимний каток. И еще — траур и грусть. Свертывалась жизнь из большой в маленькую, из легкой — в полную забот и лишений. Через три года, еще мальчик, я уже бегал по домам «репетировать» других мальчиков, еще через два читал печатные строки и глазам не верил: «неужели это я написал так замечательно? и неужели миллионы это сейчас читают?» Меньше, чем на миллионы, соглашаться не хотелось, потому что журнал был петербургский, а редактор[4] писал мне:

«Милостивый Государь! (это мне, гимназисту!), Ваш рассказ напечатан в майской книжке, что же касается гонорара, то, к сожалению, не можем предложить Вам больше одной копейки за строку, каковую сумму и переведет в ближайшее время наша контора».

Контора, правда, не перевела, но слава дороже денег.

Все это было после, — воспоминания всегда забегают вперед; а пока дома меня встретила печаль. Мать, необычайно моложавая женщина, сразу постарела; и все стали взрослее — и брат, и сестры, и я сам.

При переезде в маленькую квартиру разбирали отцовский письменный стол, теперь бесхозяйный, о некоторых секретах и сокровищах которого я и раньше знал. Например, о книжном ящике, где в плоской железной коробке было так много чудес, — мне отец не однажды их показывал. В нем были какие-то станиславы и анны, которых он никогда не надевал, облупившаяся табакерка, серебряный портсигар, несколько пенковых трубок, медаль в коробочке, старинные монеты, палочки сургуча, бисерная закладка, небольшой дагерротип (сняты дед и бабушка), целая коллекция печатей и печаток, — малая на золоте, большая на уральском топазе, крупная почка малахита, оправа очков, — одним словом, множество интереснейших предметов, которые мы с отцом, тайно ото всех, рассматривали и которые представлялись мне всегда бесценным сокровищем. Теперь все это вышло на свет, но глаз уже не веселило, а только печалило. А инструменты, слесарные, плотницкие, столярные, которыми я был рано обучен владеть, прямо перешли в мою новую комнатку и полное распоряжение; раньше мы наслаждались ими вместе с отцом по праздникам, когда он не открывал своих деловых папок, а пилил, строгал, подкрашивал, да еще пересаживал цветы нашего «зимнего сада», помещавшегося в светлых и теплых сенях. Я в отце потерял друга и товарища, в будни — взрослого и даже старого, а в праздники — большого мальчика, энтузиаста всяких домашних работ и дельных развлечений.

То, что называют наследственностью, не есть ли часто с детства усвоенные привычки и вкусы, а также следы подражания тому, чью память чтишь? Вот я сижу за письменным столом. В нижнем его ящике большая жестяная коробка, в ней — всякий милый вздор, никому не нужный, но усердно сохраняемый. Есть у меня и набор слесарных и других инструментов, без которых отдых немыслим: чиню кран водопровода, испортившийся выключатель, подпиливаю и подымаю на кольцо осевшую дверь, покрываю белую книжную полку ореховой протравкой, заново обтягиваю материей мягкое кресло: все — отцовская наука. А уж цветы, — и говорить нечего! Только бы скорее наступила весна, пусть парижская, дурного качества, — ничто не удержит в городе, буду смотреть, как растет трава, и буду сам выращивать цветы и злаки, подстригать земляничный ус, подвязывать розы, высыпать из зрелой маковой коробочки семена в заготовленный пакет. И это уж навсегда, — от этого не уйдешь и уходить не хочется. Все остальное — своим порядком: бумаги, письма, книги, газеты, всякое обязательное, радости не дающее, как не дают ее сон и пища, без которых тоже никак не обойтись.

Так завещал мне, не на письме, не на словах, а в моей памяти, молодой человек в сюртуке и штанах в мелкую клетку, родившийся сто лет тому назад, фотография которого выпала из только что полученного письма. И этим заветам никогда я не изменял и не изменю; и если бы хотел, — не мог бы!

Тому назад лет пятнадцать, после долгой заграничной жизни, я объезжал в России знакомые губернии и города, связанные течением рек Камы, Волги и Белой. Люди ушли, города выросли, берега не переменились. Какие-то обрывки прежних связей все-таки остались: мумии прежних людей и их благополучные потомки. Из тысячи уфимских кузин осталась одна, но и та была во временной отлучке. Дёмы не повидал; говорят, что ее течение стало медленнее, берега оголились, рыба помельчала и вывелась. Но ведь это обычно говорится про все реки и про все леса: «Ах, как было прежде и как стало сейчас!» Я же на всем пути по северу и востоку видел прежние лесные богатства, все еще неистощимые. Может быть, после их повырубили и извели нерадением, глупостью и «принудительным трудом»?

В двадцать втором году, когда был в Казани, Волга текла по прежнему руслу. Усохла ли — ведрами не мерил. Но на детей и внуков воды, как будто, должно хватить, а там увидится.

И вот я думаю: происшедшее не так уж страшно. Земля наша велика и обильна. Пока медведь не перевелся — ничто еще не погибло; а про медведей говорят, что они даже расплодились. Вот это хорошо! Природа чинит прорехи и восстанавливает ущербы. И поля, как известно, во многих местах отдыхают под паром, пока ржавеют поломанные тракторы. Жаль напрасных усилий, но слава вольному произрастанию несеянных злаков и несаженных деревьев. Так рассуждаем мы, приречные, лесняки, охотники, рыболовы. И не препятствуем другим рассуждать совершенно иначе.

И все это оттого, что уфимские кузины не вовремя мне подарили «Историю цивилизации в Англии» в желтой обложке. Немало над ней потрудившись, я поставил ее на дальнюю полку, а с ближней взял перечитать, в который раз, отцом подаренные томики Аксакова: «Семейную хронику» и «Записки об уженье рыбы».

КАМА

Уходящие годы — как столбы верстовые с цифровыми отметинами: знаешь, сколько верст пройдено, да не точно знаешь, сколько еще пройдется. А, право, хотелось бы итти еще долго и не слишком опираться на палочку.

За спиной багаж не тяжел. Все равно всего с собой не унесешь. Это только сначала кажется, что необходимо тащить, надрываясь, весь груз пережитого; после же привычный путник догадывается, что никакой в том необходимости нет, что груз тревожащих воспоминаний — лишняя обуза, что довольно — на прокорм души — сохранить в сумке за плечами только самое ценное, самое такое, с чем расстаться уж никак нельзя, без чего дальний путь немил и неприветлив.

Когда тикают часы, а шумы за окном затихают, — улица ли в городе, ветер ли в деревне, — мысль, утомленная дневными делами и разговорами, ищет спокойного течения, чтобы ни веслами больше не взмахивать, ни рулем не править, чтобы сама несла сонная сила реки мимо берегов надежных, знакомых и крепко памятных.

В такие часы, тихие и незлобные, я не помню и не хочу вспоминать ни разных стран, в которых бывал и живал, ни красочных чудес, ни жизненных бурь, которыми и мою лодчонку носило и ударяло о скалы, ни малых радостей, выпавших на долю нашего поколения, ни всех этих страхов за свою страну и свой народ, понятных русскому с не совсем очерствевшим сердцем. И обиды, и горечи, и надежды — пусть подождут утреннего делового часа, того тоже нужного часа, когда человек, выпив чашку кофе, делается чиновником, рабочим, публицистом, мужем жены, отцом детей, гражданином.

В тихие часы отдыха дум и пробужденья теней — легче и лучше вспоминается детство, и образы его яснее и чище.

Потому хорошо о нем вспоминать, — про себя или на бумаге, — что не нужно для этого особенных слов, восклицаний, иронии, выгнутых и расцвеченных фраз. Как просты и отчетливы были его картины, — так просто и помнится оно с ласковостью, и только с легким смущением взрослого человека. Но даже и это смущение как-то приятно. И вообще — спасибо детству за то, что оно было.

В меня стреляли из пушки, а я отстреливался из револьвера-бульдожки. Происходило это на берегах Камы.

В этом месте Кама шириной в версту с четвертью; левый берег гористый, правый отлогий. Вода цвета стали, к берегам зеленее, к середине молочнее.

Мы, прикамские, относимся к Волге с ласковой снисходительностью: приток, как всякий другой; течет себе от Твери до Казани; Кама же — от Урала до Каспия. Кама — матушка, Волга — дочь. Ни камских глубин, ни могучести камской нет у обмелевшей, глинистой, пропахнувший нефтью Волги. Чтобы сделать Волгу красивой, понадобились живописные берега; в Каме же красива сама вода и расписной рамки ей не требуется. По Волге едет человек, посмеиваясь, обычно под хмельком. На Каме же все серьезны, она сама — хмель. Вода камская пахнет водой и живой белужиной, а не вяленой воблой и не жильем человеческим, — как водой, а не портом пахнет открытый океан.

Лодочка моя называлась «Ася» — в честь Аси тургеневской. Сам вывел это имя синей краской по серому фону на носовой части борта. Лодочка-плоскодонка, вертлявая и легкая, как листок серебристого тополя. Можно плыть на ней и вдвоем, но тогда рулевой должен сесть на дно и вытянуть ноги, иначе лодка может перевернуться. Легкие весла́ устойчиво надеты на уключины, и ручки рассчитаны так, чтобы кулак о кулак не ударялся. Лавочка одна, для гребца, да еще низкое сиденье на корме, нужное, когда гонишь лодку на одном кормовом весле. Руля же на таких лодочках не полагается.

На этом тополевом листочке, с одним кормовым веслом в руках, переплывал я Каму еще мальчиком, от берега до берега, минут в восемь, в десять.

Сам плавать умел плохо, а на лодке в любую волну чувствовал себя, как дома. Часто бывало, что беляки забрасывали в лодку свой гребешок, и тогда наливало ее водой до половины. Но со мной всегда было ведерышко для вычерпывания воды, а досок на дне не было, — только крепкий упор для ног. Лодочка перекатывается с волны на волну, любая ее подбрасывает, только вот гребешки иногда хлопают через низкий борт. Всегда весело, лишь держи равновесие и не теряйся. С берега смотрят и думают: ну, пропал пловец! А пловец с одной волны скатился — а на другой вынырнул, немного бочком, чтобы не зарылся нос.

Был у нас обычай: как завидишь пароход — плыть ему наперерез и задержать лодку у самых колес, под углом в полпрямого. Пароход просвистит, пробежит мимо, а волнами крутыми и ровными начнет подымать на сажень и швырять в пропасть. Такого удовольствия я никогда не упускал. При этом садишься на корму с одним веслом в руке, чтобы нос поднялся как можно выше: и тогда волна поднимает лодку торчком, как палочку, а залить не может.

Рекордным же номером я считал — проплыть на веслах, что есть силы, между могучим камским грузовым пароходом и огромной баржей, которую он тянет на предлинном канате, — так проплыть, чтобы не удариться случайно о канат: тогда — гибель! Тут дорого каждое мгновение, глазомер должен быть точен, рука верна; пароход же идет по самой середине реки, где дна не измеришь.

Много раз порывался я на такой речной подвиг, — и отступал в страхе. Но один раз решился. И когда, гребя быстро и сильно по высоким пароходным валам, увидал я надвинувшуюся на меня громаду баржи, острым носом рассекавшей волны, — помню, тут отхлынула от лица к сердцу вся кровь, и внезапно высох я, как щепочка. Однако пролетел между Сциллой и Харибдой, ныряя из пропасти в пропасть и ужасаясь своей малости. Пролетев же, успел увидать, как на пароходе и на барже столпились у борта люди и спешно отвязывали спасательные круги; а с кормы баржи матрос зычно послал мне хорошее слово, эхом отскочившее от далекого крутого берега.

Почему стреляли в меня из пушки? А потому, что на том, на городском берегу — от города четыре версты, был пушечный завод. Пробуя новые орудия, стреляли не снарядами (да снарядов, кажется, тогда еще и не было, в девяностые годы!), а ядрами.

Стреляли через Каму, в леса, где на несколько верст вглубь были сшиблены деревья и вырыты ядрами глубокие рвы. Ходить в тех местах не полагалось, да и некому было, — разве по воскресеньям, когда завод молчал, а через реку малыми паучками плыли в лодках люди из города и с завода на закамскую погулянку.

Мне же нравилось сидеть на том берегу, против пробы пушечного завода, и слушать, как сотрясается воздух от летящего над моей головой ядра и как долго потом идет гул по лесу. «Ася» смирненько ждала у берега, упершись носом в песок.

Бывали недолеты: ядро попадало в воду, и подымался фонтан брызг и пара. Ни пушек, ни людей за далью не видно на том берегу: только по дыму от залпов знаешь, откуда стреляют. Было однажды, что ядро ударилось прямо в берег, где я перед тем сидел и где отдыхала моя «Ася». Это тоже жутко и приятно: было о чем рассказать товарищам-гимназистам. Но обычно ядра пролетали высоко и искали в лесу красный дощаный щит, прикрепленный повыше верхушек деревьев.

Река гудела, воздух дрожал, и настроение рождалось военное. Вынув из кармана револьвер-бульдожку, куцый, шестипульный, без дула, я участвовал в сражении, отстреливаясь от невидимого врага. Пули хлюпали в воду, а звук от выстрела казался ничтожным, как звук хлопушки, которою бьют на стене мух.

Но все-таки приятно, что не просто торчишь перед пушками, как непрошеная мишень, а отстреливаешься. Много позже мне пришлось, тоже в одиночестве, выдержать на открытом месте шальной шрапнельный обстрел с турецких батарей (на Балканах, в 12 году, под Адрианополем), — и тогда в руках моих был только карандаш для записи впечатлений. А какие же впечатления? Жутко и глупо — вот и все. И я вспомнил тогда, как в детские годы весело было отстреливаться, и очень пожалел, что нет со мной бульдожки.

Наляжешь на весла — и опять выплыла «Ася» на середину великой нашей реки, на зеркальную крышу бездонной пропасти. Тут хорошо лечь на дно лодки и плыть по течению, смотря в небо; там тоже легкими лодочками плывут в лазури белые барашки. Хорошо и задремать; если нагонит пароход, то стук его колес гулко отдастся в днище лодочки и разбудит вовремя, чтобы взять весло и отплыть в сторону. Лежа на дне, руки перекинешь через борт, чтобы ласкала пальцы камская вода.

А в ветреную погоду я брал с собой большой дождевой зонт о четырнадцати спицах: лучше всякого паруса. С ним «Ася» летела стрелой и против течения и наперерез Каме. Часто так катался, пока, однажды, ветер не вырвал у меня из рук тяжелый зонтик и не унес его парашютом. Тут уж весла не помогли: едва догнал, как зонт, повернувшись кверху ручкой, погрузился в воду; только я его и видел. Пришлось сделать из старой простыни прямой парус; с таким расчетом, чтобы при сильном порыве ветра можно было отпускать его трепаться по воздуху свободно, а то мигом перевернет лодку. С косым парусом ходить плоскодонка не могла. На самодельном своем парусе плавал я вверх по Каме до зеленого острова, верстах в пяти от города. На островке же, где жилья не было, только густой кустарник да птичьи гнезда, — чувствовал я себя Робинзоном, хотя и без Пятницы.

И Майн Рида, и Купера, и Жюль Верна я, конечно, читал, и с немалым увлечением. Но бежать в Америку охотиться на бизонов никогда не приходило мне в голову. Мальчику столичному — ну, это понятно. А у нас тут же, рядом, за окраиной города, начинались свои девственные леса, да еще была в придачу могучая река; нам Америка была ни к чему, — своя Америка под боком. Гораздо больше я увлекался русской детской книжкой, автора которой не помню, а называлась которая «Робинзон в русском лесу».

Как два мальчика убежали в лес — и поздно раскаялись: хотели вернуться, да заплутались и прожили в лесу три-четыре года. Снаряжаясь, захватили с собой по ружью, тележку с плотничьими инструментами, немного съестных припасов. И как они, живя в лесу, научились все делать сами, — и жилище построили, и вырастили из зернышка поле ржи, и кузницу соорудили, и выделывали стекло, и не только оборонялись от волков, но сумели обратить оленей в домашних животных. Все им пришлось изобретать и открывать самим, с малыми знаниями, — и все нужное нашлось для них в изумительном русском лесу.

Какая увлекательная книжка! Как хотелось бы разыскать ее теперь и снова прочитать.

Ей я благодарен тем, что полюбил дело плотницкое, столярное и слесарное, что умею владеть рубанком, стамеской, пилой и не боюсь жизни: не прокормит литература — буду чинить замки, водопроводы, перебивать мебель и проводить электрические звонки. С малых лет у меня был набор инструментов, и мой отец, судья по профессии, плотник, слесарь, рыболов, кустарь, садовод по призванию, учил меня покрывать лаком ручки и ножки кресел, направлять пилу, делать полочку, выращивать лимон в теплой комнате, за стенами которой трещал мороз в сорок градусов по Реомюру. И башмак починить — не велика штука; и калоши залить; и уху сварю не хуже средней кухарки. А уж рыбы для нее наловить — первая специальность (только не в Сене!). Такими склонностями и талантами похвастаться приятно; а как они пригодились в России в девятнадцатом году! Какую чудесную сухостойную сосну, на три сажени дров, спилил и вывез я в Погоно-Лосином острове, какие замки привинчивал к дверям амбарчика в воровское время, какие фабриковал масляные лампы, когда не было керосину и не действовало электричество. И сколько перепортил зажигалок и карманных часов на своем веку.

Нет, Америка не прельщала нас, у которых рядом были леса, переходившие в тайгу по ту сторону Урала.

Кама, леса прикамские... Пароходы, лодочки, водяная гладь... Белужина, стерлядь кольчиком, пьяноборские раки... И глазу, и легким, и сердцу, и желудку.

Встречные пароходы свистками пожимают друг другу руки. Мой увозит меня в Москву, из гимназистов в студенты. На каникулы — везет обратно. Потом — в последний раз. Потом моря, чужие страны, возврат ненадолго (был и на Каме), — и опять чужие моря, чужие жалкие лесочки, дрянные европейские речушки (Тибры, Темзы, Сены, Шпре), всему пять сантимов цена, — вернулась бы Кама хоть ценой половины уже считанных лет!

Там, в верховьях, есть холодные и чистые озера, где судак никогда не видал рыболовной дорожки и смело цапает оловянную ложку с кое-как припаянным грубым крючком. Там щука, схватив наживку, долго возит рыбака вместе с лодкой по водному простору, и кто из них победит — неизвестно. Мелюзгу, на которую здесь зарятся охотничьи общества (и журнальчики издают об этом), там мальчишка черпает худым решетом, зайдя в воду до полбрюха. Там запасливая и прощающая судьба накопила для будущего России, для поправки и богатства, соляные, угольные, железные, золотые клады, горы топазов, аметистов, малахита, многоцветной яшмы, костей мамонта, — всего, чего требует ненасытная человеческая душа. Сундук наследства, в котором только верхние тряпки расшарены и расшвырены. И там, еще подальше, найдутся Бог их знает как попавшие в леса поселки людей, до которых вряд ли успел дойти слух об Японской войне и которым ни глаголица, ни кириллица, к счастью их большому, не знакомы.

Прикамье, Урал, неисхоженный север...

Телом здесь — мыслью там. С легких бы мостков — вниз головой; или бы в плоскодонке на кормовом весле; или бы в ближний лес по рыжики; или бы с удочкой в камышах, где гоняет щука уклеек. На родном бы берегу, — пусть с другого берега палят в тебя пушки хоть шрапнелью.

Но далек тот берег. Как детство, как «Ася», как рябь нехитрых воспоминаний.

Париж, 1927

ЕГОШИХА

Речка Егошиха — ничтожнее всех речек в мире.

Она зарождается в лесном овражке, верстах в двадцати от Камы, виляет светлой струйкой по низине между лесом и деревней Загарье, а в Каму впадает совсем непочетно: где-то на фабричных задворках, где никто не считает ее речкой, а все думают, что это — фабричный сток.

В речке Егошихе, от истока до устья, жило десятка два уклеек, пяток плотичек и один усатый соменок, обычно стоявший в неглубоком омутке на среднем течении.

Единственный мост через Егошиху, длиной в полторы сажени, перекинут был близ деревни Загарье. Через мост ходили пешком за грибами и ягодами; а если нужно было ехать, то ехали не по мосту, а вброд; и колесо телеги до половины уходило в воду.

На низине, под деревней, у самой речки росла смородина: черная, немного терпкая, красная, от которой розовеют пальцы, и белая, поспевающая раньше других. Худенький мальчик Вася, в синей с горошинами рубашке, подпоясанный белым шнурочком, предпринял огромное путешествие: из дому, через огород, по склону холма, вниз по тропинке — к речке Егошихе по смородину. Васе было пять лет. Белокурые волосы стрижены в кружок. Лоб папин, глаза мамины, нос пока свой собственный, не очень значительный, но забавный.

С пригорка Вася спускался осторожно и молча. Иногда приседал на корточки и питался ароматной полевой клубникой, предпочитая не очень зрелую, потому что она кисленькая и освежающая, и есть ее не советуют в соображении животика.

По ту сторону речки стоял высокий хвойный лес. Начинался здесь, а уходил за большие сотни верст неизвестно куда — очень далеко. По опушке леса бродили, а вглубь редко кто и заглядывал: нечего там делать. Все, что нужно, найдется и на первой версте: и дрова, и ягоды, и грибы, и зайцы, и волки, и медведь.

Вася спускался по смородину отсюда, а с той стороны, из лесу, тоже с горки, спускался к речке напиться воды беглый арестант, рваный, усталый, обросший волосами. За спиной нес тяжкую жизнь, подлинно каторжную, а не только по названию: преступление, тюрьмы, этапы, голод, страх, сотню пройденных верст, очень многое, чего за него не выдумаешь и не расскажешь.

Ни Вася его не видел, ни он Васи. Вася маленький, в траве и кустарнике — как василек; а арестант (по-нашему, по-тамошнему — варнак) не столько шел, сколько полз, чтобы не увидали его из деревни. И только у самой Егошихи, когда арестант хотел нагнуться к воде, а Вася сорвать кисточку смородины, — встретились на двух берегах — в двух саженях друг от дружки.

Только одну минуту смотрели друг на друга: мальчик на варнака, варнак на мальчика. Вася — разинув рот, а тот — широко открыв опухшие глаза. Маленький — и большой; беленький — и черный; чистенький — и весь грязный и засаленный.

И только Вася приготовился бежать, — как варнак, сгорбившись, тоже повернул оглобли, сжался, принизился и побежал к лесу.

Бежал варнак широкими скачками, приплюснув на голове шапку. Вася же бежал, помогая себе руками, плотно топая ножками по тропинке и молча, замерев от страха.

Васе казалось, что варнак за ним гонится, хотя он и видел, что тот побежал к лесу. Варнак же спешил в глубь леса, чтобы мужики не успели сделать на него облаву, если мальчонок расскажет, что видел на речке беглого арестанта.

Конечно, Вася рассказал маме, подробно, захлебываясь от ужаса и восторга: такое пережил! Варнак свое проклятье поведал елке, пихте и зверью: напиться захотелось, а тут принесла нелегкая мальчонку. Теперь, не пимши, шагай в самую глубь и сиди там, пока будут искать. Раньше, чем через неделю, нечего и думать подойти к жилому месту, чтобы промыслить себе какую ни на есть одежонку или хоть рубаху со штанами. В арестантском в город не явишься, — а убежал варнак прямо с пути, из партии, которую гнали по Сибирскому тракту. И полголовы обрито — знак, что убийца.

Вася рассказал маме, которая подумала:

— Как опасно жить с детьми в деревне; а в городе им вредно летом.

И задумалась о хлопотливости семейной жизни. Мама была молодая.

У варнака тоже была семья, только далеко, в Тульской губернии. Была жена и вот такой же мальчонка. Бог их знает, что с ними сталось.

На варнака была сделана облава, так как мужики, узнав, проговорились. Дошло до урядника, и их же погнали шарить по лесу с топорами за поясом, а иные с вилами. Однако никого не нашли — и не хотелось. Так, для обычая, по приказу. На ночь же бабы стали выставлять на крыльцо горшки с гречневой кашей, — чтобы варнак, если зайдет в деревню, поел и убрался миром, никакого зла не сделавши.

* * *

Шли годы и прошли года.

Беглого арестанта позже все же поймали; в общей сложности он погулял на воле ну, скажем, месяца четыре, вряд ли больше, и все по лесам, впроголодь, впрохолодь, в полусон, в вечном страхе, что поймают и окончится такая прекрасная жизнь на свободе. Поймав, его заковали, заново побрили полголовы и отправили на каторгу; во второй раз убежать не довелось.

На каторге он, туго шевеля отупевшей памятью, думал о своей тульской деревне, о жене и сынишке. Сын его давно вырос, но каторжник вспоминал о нем, как о маленьком. И в памяти своей он спутал его с мальчонкой, которого встретил на речке, — белокурым Васей в синей рубашке с белыми горошинами и белым шнурочком вместо пояса. Так о нем всегда и думал: узенькая речка, к ней тропинка от деревни, а на тропинке, в мелком кустарнике, малыш тянется к смородине. Будто бы это и есть его сын. С ним он порой говорил, поглаживая по шелковой головке:

— Эх, паря, далеко твой тятька. Никогда ты его не увидишь.

У Васи же встреча на речке Егошихе с арестантом врезалась в память прочно, навсегда, как на белой доске выжженная картина.

Сначала арестант был для него как бы зверем: вышел из лесу медведь и пошел навстречу. После, когда стал Вася думать не одними глазами, а и всей головой, — медведь стал человеком. Почему человек живет в лесу? Почему такой большой испугался его, малыша? И почему его ловят?

— Мама, почему его ловят?

— Он арестант, Вася, он из тюрьмы убежал.

Все могут ходить свободно, а арестанту нельзя. Людей сажают в тюрьму за преступление. Арестанты — дурные люди.

— Мама, дурные люди все сидят в тюрьме?

Мама не такая, чтобы обманывать.

— Нет, Вася, есть и на воле дурные люди.

Непонятно. Которых же садят, а которых нет? И еще непонятно, почему в деревнях выставляют ночью на крыльцо горшок с кашей для беглых.

— Мама, почему?

— Ну, жалеют их. Чтобы они поели.

Ох, как это сложно! Дурных жалеют. И их же ловят, чтобы опять посадить. Злой убийца боится маленького мальчика.

Воля, тюрьма, преступление, человек, который ловит человека, и боится его, и жалеет его, и в тюрьму садит, и кормит кашей...

Шли годы, Вася подрастал, Вася вырос, — и все было больше мыслей, странных и путаных, и хватило их ему на всю жизнь.

Светлой ленточкой между лесом и деревней вьется и сейчас речка Егошиха; может быть, цел и прежний мост, — а то новый такой же перекинули для пешеходов; а на телеге все вброд ездят.

В неглубоком омутке шевелит усами сомёнок, а уклейки ловят на поверхности намочившую крылышки муху. И смородина белеет, краснеет и чернеет ягодами.

Вот тут, полевее моста, вышла встреча арестанта с Васей. Одному оставила для памяти и утешения образ белокурого мальчика, будто бы сынишки, а другому задала на всю жизнь урок мысли. Для иного человека все это просто и понятно, а для другого — всегдашняя трудная дума.

В наших краях, в Прикамье, на отрогах Урала, речушки светлы, леса богаты и безграничны, зверья без счета, дети белокуры, люди задумчивы, строги и жалостливы.

У нас там прекрасная, долгая весна, и лето прекрасное, и осень, а зима долгая, холодная и прекрасная. Все по-особенному, не пустяшно, а богато: цветы идут ни за что, пихта стелет широкие лапы, много лиственницы и есть кедр. Кама широкая, вода в ней зеленая, глубокая, берега в лесах. В тех лесах живут Пилы и Сысойки[1], и, как прежде, так и посейчас, как будто ничего не случилось, забивают еловый кол в беспокойных покойников. Они же жалеют несчастненьких варнаков и выставляют для них ночью горшок гречневой каши: чтобы поели и ушли с миром, зла не причинивши.

В ЮНОСТИ

Заглянешь в будущее — и ничего в этом будущем не усматривается положительного, только слабая надежда, что вот хорошо бы напоследок пожить и склонить голову там, где хочется. Голова совсем не буйная, а с обыкновенным пробором в волосах, которые у почтенного человека начинают светлеть с висков.

Настоящее без перемен. Не то что бы... но и не так что бы. О настоящем вообще не рассказывают, а им живут. Похвастаешь счастьем — станет другому завидно; а начнешь печаловаться — лица сделаются сочувственно далекими и тревожно усталыми, потому что каждому человеку довольно своей заботы.

И остается рассказывать о прошлом.

Я ни разу не был министром, ни в Петербурге, ни в Уфе, ни за Уралом, ни в других местах, где этим занималось множество людей вполне приличных и на вид серьезных. Не пришлось быть также ни офицером, ни солдатом; вообще — управлять, командовать и совершать подвиги не доводилось. Всю свою жизнь я прожил простым человеком, безо всякой особенной биографии: родился от папы с мамой, учился и добывал хлеб насущный, то белый, то черный, иногда с паюсной икрой, а чаще с крупной солью. Попутно суетился, как все суетятся. Были, конечно, разные жизненные события, приятные и неприятные, но в меру: иностранцу хватило бы на десять жизней, а русскому как раз на одну. И, как коренной русский человек, гражданин и властитель шестой части земного шара, я жил больше по чужим странам, так как дома было тесновато и неудобно. На здоровье не жалуюсь — здоров. Вот пописываю, — но чтобы писать, как пишут другие, что с детских лет ощущал трагизм бытия и веянье смерти, целый роман на такую тему, — этого я, по совести, не могу, хотя знаю, что многим читателям это нравится. Не могу потому, что в детстве я был ребенком, в юности юношей, а в данное время соответствую собственным годам.

Итак, министром я не бывал, гимназистом действительно был, и хотя достаточно давно, в прошедшем веке, а рассказать что-нибудь из тех лет могу.

Бог его знает, было это время счастливое или несчастливое. Обычно детство называют незабвенным и золотым, но мне кое-какие из взрослых годов нравятся гораздо больше. Как и большинство русских провинциальных гимназий, и тех времен и позднейших, наша была отвратительным учреждением, очень вредным и губительным. Спасибо, что хоть научили читать, писать и считать. Вместо истории нам преподавали хронологию рождений и смертей бесчисленных Карлов, Александров, Максимилианов и Елизавет, и чужих и наших, и еще мы изучали, кто с кем когда воевал. Вместо географии зубрили названия озер и полуостровов. Физику учили без опытов, геометрию без смысла, а естествознание в программу не входило, и никто нам не сказал, что кроме гимназистов, учителей, попечителя округа и таинственных Меровингов и Габсбургов есть еще и другие животные, есть огромный и великий мир живых существ, жизнь которых полнее, сложнее и разумнее нашей. И еще нам преподавали закон Божий, то есть очаровательные сказки, но только в самом глупом и безнравственном их толковании. Если бы не здоровая и естественная ненависть к учителям и всей преподносимой ими чепухе и если бы мы не толковали для себя многого наоборот, — мы все выросли бы идиотами или большими негодяями.

Истории нас обучал сам директор гимназии, очень невежественный, но не злой господин, имевший романы со всеми соседними кухарками. Явившись на урок, он засовывал глубоко в нос большой палец, колупал и, помогая пальцем средним, вынимал шарики, которые сыпал вокруг себя. Что мы отвечали — он никогда не слушал, думая о кухарках. Нужно было только отвечать ровно и без перерыва. Когда нам надоедало читать заданный урок прямо по книжке, — мы вставляли в рассказ о войне Алой и Белой розы басню Крылова «Стрекоза и Муравей». На пятом шарике он останавливал отвечавшего и ставил отметку, оценивая не знание урока, а качество последней своей кухарки, — всегда снисходительно.

Законоучителей у нас было двое: один — старый, верующий, малограмотный, с огромным сизым носом, а между тем — единственный непьющий в учительской среде. Другой был молодой, академик, атеист, красивый и чистоплотный — горчайший пьяница. Но оба они говорили одно и то же, как полагалось по программе. Первый, впрочем, позволял себе отвлекаться от основного предмета и даже однажды познакомил нас с теорией социализма:

— Социалисты говорят: все твое — мое, а что мое — так это еще посмотрим.

Социалистом он считал Вольтера, но иногда по ошибке называл его Вальтер Скоттом. Сам он искренне верил в рай, в ад, в кита, проглотившего Иону, в Ноев ковчег, ангелов, демонов и прочее, что полагается. Но верил как-то боязливо, никого своей верой не заражая. Он нюхал табак с малинкой, громко чихал и вытирал бороду и усы бурым клетчатым платком.

Второй, академик, избегал посторонних тем, и мы его побаивались, пока однажды, на лесной прогулке, не увидали, как он, в пьяной компании других учителей, пляшет на полянке трепака, подобрав рясу и обнаружив белые кальсоны в синюю полоску. Нам это понравилось.

Были среди наших учителей и хорошие люди, но их губила глухая провинция и водка, — все пили дико и свирепо и забывали подтяжки в публичных домах. Самым лучшим и самым умным был наш инспектор по прозванию Савоська, человек благородный, строгий, справедливый, образованный, огромного роста и большой физической силы. Компаний он не любил, а пил один дома протяжно, мрачно, а напившись, — разносил вдребезги свою казенную квартиру и обстановку нашей «актовой залы». Запой тянулся у него неделями.

Меньше всего пили француз и немец, оба — подлинные иностранцы. У француза была крашеная борода и поэтому вечнозеленый крахмальный воротничок. Он нас не учил, а рассказывал нам на ломаном русском языке о революции сорок восьмого года, которой будто бы был участником, хотя по возрасту это никак не получалось. Невозможно было понять, с чьей стороны он бился на баррикадах, тем более что эта страница истории в наших программах не значилась; но слушать было забавно, и притом можно было не учить уроки. А немец наш был молод, голубоглаз, сентиментален и влюблен в классную даму женской гимназии, которую мы прозвали Ирония Судеб. Он хотел даже застрелиться от любви, — но она так быстро и охотно согласилась выйти за него замуж, что стреляться не пришлось. После она его ужасно сильно била по голове «Разбойниками» Шиллера в златообрезном переплете, и он за один год полысел.

Действительно, это была какая-то коллекция уродов и несчастных людей! Я думаю, что наша гимназия была местом ссылки педагогов, тем более что и город наш был раньше городом ссылки, как тогда говорилось, «не столь отдаленной». Но ведь это — как понимать! Наша губерния сама по себе была размерами больше Италии, а когда я, став студентом, ездил из Москвы на родину, то для этого пересекал в поезде одиннадцать губерний — пять суток езды. Это только французы думают, что от Парижа до Марселя — путешествие; у нас масштабы иные.

Говоря об учителях, я не упомянул совсем о латинисте и греке, о самых — по тем временам — главных. Это потому, что о личных врагах вспоминать очень неприятно. Вергилия и Гомера я научился понимать и ценить много позже, уже взрослым человеком, самостоятельно подучившись; а раньше ненавидел их всем пламенем молодого сердца.

Но кроме гимназии была у нас широкая и многоводная река и почти девственный лес под самым городом — открытая книга природы, всякому доступная, чьи глаза хотят видеть, уши слышать, а душа радоваться. Все, что нам не договаривали и не умели объяснить, мы читали на страницах этой книги.

В ней мы находили настоящий закон Божий, она подготовляла нас к восприятию подлинной истории, она очищала наши детские головы от мусора, которым их засаривала гимназия.

И на ее пышных и роскошных зелено-голубых страницах мы учились постигать и любить огромный мир своих собратьев по бытию — зверей, птиц, рыб, гадов, насекомых, от золотистого жучка и вертлявой уклейки до сестры-моей-змеи и брата-моего-волка, которых немало водилось на лугах и в лесной чаще того берега матери-моей-Камы.

* * *

Год в наших краях состоял не из двух, как здесь (осень и лето), а из четырех времен:

из очень длительной весны, коротких лета и осени и опять долгой зимы.

У меня был закадычный приятель Вася[1]. Зимой, отбыв положенное в классах, остальное время мы катались на коньках или сидели за книжками, но не за учебниками, а за страшными, запрещенными и развратными: читали вслух Достоевского, Толстого, Шекспира, Байрона, Белинского, Писарева, Аполлона Григорьева, Шелгунова и Бокля. А кроме того, писали свои собственные произведения: он — критико-философские, а я по части беллетристической. Написал я роман, с очень сложной интригой. Он любил ее, а его отец как бабахнет ее отца по черепу пресс-папье, так тот и умер! И счастье, разумеется, расстроилось при помощи двух самоубийств молодых людей, а отец его сошел с ума. Васе понравился роман, только он говорил, что я слегка сгустил краски. Думается — влияние Достоевского.

А поздней весной и летом мы мало читали книги печатные, а больше увлекались книгой природы. У меня была лодочка на два места, совсем маленькая, плоскодонка. На ней мы уезжали либо на тот берег реки, либо на остров невдалеке от города. На острове раздевались, лежали на песке и разговаривали обо всем на свете, начиная с тайн мироздания и кончая Марусей Коровиной, в которую я был влюблен, а он будто бы нет, хотя это невозможно. Больше, однако, о тайнах мироздания и о возможности объяснить их при помощи науки, только не гимназической. Говорили о борьбе в мире добра со злом; по его выходило, что победит добро, а по моему все шансы были на стороне зла. Потом высказывали пожелание изучить язык зверей и наладить некоторую с ними жизнь. Также о государственном устройстве, а именно о низвержении гимназического начальства и завоевании права свободно пользоваться книгами городской библиотеки. Еще о том, что в будущем люди станут питаться пилюлями универсального содержания, которые можно будет носить в кармане. Мечтой нашей было иметь большой атлас звездного неба и телескоп. Вполне допускали мысль поселиться на необитаемом острове, но здесь я не знал, как быть с Марусей Коровиной. Когда мы стали постарше, то предметом обычного разговора сделалось наше будущее. Я определил для себя писательство, он избрал дорогу инженера; нужно сказать, что к этому времени мы поменялись некоторыми взглядами: он стал верить в победу зла, я — в конечную победу добра, он возложил надежды на рост цивилизации, я — на усовершенствование человека. Так оно и случилось: он стал впоследствии инженером, а я вот — пишу.

Но больше всего мы пили солнечный свет и дышали смолистым воздухом. Когда плыли на моей лодочке, смотрели в глубину реки, которая у нас хоть и темна, а не мутна, как на Волге. И там, в глубине, было множество скрытых тайн, жизнь совсем особенная. А над нами было небо, тоже — перевернутая бездна, тоже полная жутких тайн; в ангелов мы не верили, а в людях на разных планетах не сомневались. Но и помимо этого уж одни звезды — ведь это чудо из чудес! По берегам же цвела липа, сладкий запах которой кружил голову. И впереди была вся жизнь — тоже голова кружилась. В Марусе Коровиной я к тому времени разочаровался, чего нельзя было сказать о Жене Тихоновой, не обращавшей на меня никакого внимания.

В воскресный день Вася зашел ко мне утром; мы условились пойти в лес. По лицу его я видел, что нечто произошло: весь он был «на цыпочках», таинственный и важный. Мы были мужчинами, и обнаруживать любопытство не полагалось. Я стал равнодушно готовить сумку для бутербродов и коробочки для трав и насекомых; мы тогда самостоятельно занимались естественными науками — по случайной книжке.

Перед тем как выйти, Вася не вытерпел и, покраснев от скрытого возбуждения, сказал:

— Хочешь знать, о чем я думал? И даже решил.

— Ну, говори.

Он стал ко мне вполоборота и произнес:

— Знаешь ли ты, в чем цель жизни?

— Не знаю. Ну?

— В самой жизни.

— Как же это?

— А так, в ней самой! Особой цели нет, а вся цель в том, чтобы жить. И отсюда выводы.

. Он это не вычитал, а открыл. Он, Вася, был замечательный! И я, подумавши, понял, что открытие это — великое. Если, например, он это напишет и напечатает — может прославиться. Он мне и еще растолковал:

— Это значит, что снаружи цели не ищи, она внутри. Формула такая: «Цель жизни — самый процесс жизни».

— А как же смерть?

— Смерть — не жизнь. Я говорю про жизнь. А смерть просто в конце, ею цель пресекается. Умер — и конец цели.

Однако и я поднял важный вопрос — Вася это почувствовал. Мы пошли в лес, но ни гербария, ни насекомых не собирали, а говорили и говорили. По моему выходило, что если цель пресекается смертью, то что же это за цель, какой же это идеал? Горе наше было в том, что нам не хватало слов для выражения мыслей. И мы, продираясь сквозь кустарник или сидя на лужайке, открывали истины и путались в них больше, чем в лесной чаще. Но как было хорошо! Все было придумано и сто раз сказано другими раньше нас, — но ведь не с их голоса, а сами мы нащупывали какую-то правду, изумительную и странную. То ли правду, то ли детскую чепуху. Но если чепуху — то свойственную всем философам мира, таким же ребятам и таким же восторженным путаникам.

Когда я студентом стал изучать философию, я со смущением вспоминал о наших великих открытиях. А когда стал совсем взрослым, я понял, что на путях познания задач человеческого бытия — малым, а то и ничем не отличается «великий философ» от желторотого провинциального гимназиста. Только говорит складнее, а барахтается в той же самой неразберихе. И так же ничего никогда не решит — слава тебе, Господи, иначе высохли бы реки, повял бы лес и стало бы жить совсем скучно. Потому что если трижды пять — пятнадцать, и это уже верно и окончательно, — то лучше всего повеситься или жениться на продавщице из табачной лавочки. Невыносимо это для живого человека, заглянувшего в глубь реки и в звездную пучину: душа делается квадратной и противно чешется мозжечок!

* * *

Если вы представите себе девушку пятнадцати лет с глазами в страусово яйцо и со слегка блестящим маленьким носом, пальчики которой запачканы чернилами, то это и есть Женя Тихонова. Относительно ее невнимания ко мне вышла ошибка: она просто притворялась равнодушной. Все это выяснилось в один из тех дней, которые в жизни редко повторяются.

Нас объединила литература; она писала лучшие сочинения в женской, я — в мужской гимназии. Мы гуляли по отдаленной улице, где под вечер было трудно кого-нибудь встретить, и говорили о Неточке Незвановой, Соне Мармеладовой и об Алеше из «Братьев Карамазовых». В одном месте немощеной улицы приходилось каждый раз обходить большую лужу; в этот момент разговор прерывался, и я мучительно думал о том, как я люблю Женю и как безнадежно высказать это ей среди умного разговора. И еще в одном месте был забор, из-за которого свешивалась старая липа так, что задевала прохожих по лицу.

Я чувствовал, что именно в этом месте и произойдет признание, и готовился к нему неделями, хотя гуляли мы почти каждый день.

И вот однажды, как раз под самой липой, я, внезапно оборвав беседу о значении романа «Обломов» в русской литературе и о влиянии его на развитие общественной жизни, вполне корявым языком и запинаясь сказал Жене, что и моя жизнь разбита, так как я полюбил женщину, которой я не достоин и которая никогда не может полюбить меня. Теперь-то у меня это выходит ясно, а тогда получилось очень сложно и туманно. Женя на ходу спросила, не ошибаюсь ли я, считая себя совсем погибшим. К этому времени мы дошли до лужи. Сделав легкий скачок, при котором я набрал воды в калошу, я осмелел и сказал, что об этом может знать только она. Тогда Женя, мотнув толстой косой и не оборачиваясь, подала мне руку и пробормотала:

— Она ответит вам, что тоже... но оставьте меня, я дойду одна.

При этом в моей руке оказалась записка, которую я крепко зажал. Такая же записка уже две недели лежала в моем кармане, и было очень обидно, да и неудобно, что я не успел ее передать Жене.

В ее записке было сказано все, что могло сделать меня счастливым, и в доказательство приводились цитаты из Тургенева. Хорошо, что я не передал Жене своей, так как моя была написана гораздо хуже, не так литературно. Дома, ошалелый от счастья, я написал новую, огромную, где был такой оборот:

«Помнишь ли ты, как Вронский, за час перед скачками...»

Мы перешли на «ты» сразу, но только в письмах. Встретившись на другой день, мы опять бродили по тихой улице, перескакивали через лужу, замирали под липой, но говорили на «вы» и исключительно о народных былинах как источнике русской словесности. И только прощаясь — быстро обменялись записками, в которых было высказано все, чего мы не решались произнести. Оказалось, что она любит меня с Пасхи прошлого года, когда я пел на клиросе в гимназической церкви и во время «Херувимской» пристально посмотрел на нее. Я же написал ей, что образ неясный, образ еще туманный, только после ставший реальным, носился предо мной с юных лет, особенно во время моих одиноких прогулок в лесу, где сердце замирало от красоты природы, а грудь вздымалась от ласки весеннего воздуха. Сейчас я не вспомню, так ли было, но возможно, что все это было истинной правдой. Во всяком случае, мне хотелось, чтобы было так.

Теперь жизнь моя была переполнена чувством к Жене. Целые часы уходили на писанье ей писем, в которых, в ряду с самыми цветистыми выражениями моей любви, нужно было показать и глубокое знание литературы, главным образом тех авторов, которых мы в гимназии не изучали. А так как Женя тоже много читала, то превзойти ее я мог только скептической философией, и я действительно писал ей: «Да не есть ли самая наша жизнь лишь миг между вечностями?»

Так мы переписывались до летних каникул, все-таки ни разу не сказав друг другу словами то, что облекали в письмах в красивейшую и страстную форму. К лету лужа подсохла, липа распустилась и расцвела и я почувствовал (скверный и безнравственный мужчина!), что я хочу Женю поцеловать. Помогла опять липа, но когда я, пустив в ход всю решимость мужчины, неуклюже обнял Женю за плечи, а она с полным доверием и без особого смущения протянула губы, — из-за угла показался какой-то человек, и мы, лишь слегка столкнувшись носами, должны были скорее зашагать дальше.

Хотя поцелуя между нами так и не случилось, но в ближайшем письме Жени я прочел фразу: «То, что произошло вчера, заставило меня горько задуматься над «дружбой» и «страстью». Мой милый, мы не должны больше встречаться! Сердце мое холодеет и грусть немолчным потоком заливает душу...»

Это было как раз накануне моего экзамена по латинскому языку, на котором я блестяще провалился, почему и остался на второй год. Женя тоже держала последний экзамен, и удачно, а затем должна была уехать в деревню с матерью. Вообще женщинам это дается как-то легче, мы же обыкновенно страдаем.

Мы, впрочем, переписывались, но должен сказать, что мои письма стали такими мрачными, что слово «любовь» в них появлялось только в кавычках. Я остался шестиклассником, а она перешла в седьмой. Вам понятно, что это значит для мужского самолюбия! Одновременно я терял и Васю, от которого отстал на год. Мне ничего не оставалось, как стать мизантропом, а мрачные люди девушкам не нравятся.

Есть такое имя — Овидий Назон. Если хотите, можете им восторгаться, а мне он не нравится. И, по-моему, невесть какая заслуга — написать «Метаморфозы». Впрочем, с годами я с ним примирился.

* * *

Вот я и говорю: будущее наше темно и непонятно, настоящее никому не любопытно, а в прошедшем горести смягчены, и вспоминать его всегда приятно. Может быть, столкнувшись носом с Женей, я такое пережил, что лучше и сильнее никогда не переживал. И я, пожалуй, рад, что в наш роман вмешался Овидий Назон: нам было слишком рано узнать, как кончаются романы при их «нормальном» развитии, то есть когда никто не выходит из-за угла, не сталкиваются носы и не появляется на сцене злодей в плаще римского поэта.

Сердце, вот то самое, которое и сейчас еще отбивает счет слева под ребрами, только не с прежней отчетливостью, — это сердце любило тогда не курносенькую Женю с глазами в яйцо страуса, а так-таки целиком весь мир, который оно тогда свободно вмещало, — с лесами, реками, горами, цветами, слонами, человеками и букашками. Теперь ему не столько дороги ландыши, сколько ландышевые капли. Не то чтобы я собирался жаловаться и скулить, это ни к чему, да и не в моем характере, — а только говорю откровенно, что в прошлом даже и чепуху вспомнить приятно, а мечтаньям о будущем всегда мешает какой-то сидящий в нас червячок. Впрочем, такое мнение ни для кого не обязательно.

ПЯТЕРКА

Каждому специалисту по выдумке небывших событий и неживших людей время от времени необходимо убегать из толпы им созданных марионеток и петрушек, из холода мастерской в теплую маленькую комнату личных воспоминаний. И чем сам он становится старше, тем он моложе в своей памяти, тем глубже мысль уходит к годам детства. Я непочтительно представляю себе нашу память в виде доски, заляпанной событиями. Когда в жизни личной уже нечему случаться, эта житейская накипь начинает обваливаться сухими корочками, открывая слои предыдущие, пока не останется прежняя tabula rasa и не запутается язык в старческом шамканье — детском лепете; обратный ход кинематографической ленты. И потому сегодня на очереди воспоминанье об обществе «Пятерка».

Пятым был я, гимназист седьмого класса, а до меня мои одноклассники: Володя Шаров, сын жандармского генерала[1], братья-близнецы Черных (Митя и Алеша) и тихий и умный Константин Лукин, мыслитель и революционер. Фон — северо-восточная провинция, затрапезная гимназия, привольная река, городской сад под названьем «Козий загон», мирный быт, поверхность которого изредка волнуется слухами о севшей на мель стопудовой белуге, рожденьем двухголового цыпленка и болезнью английской королевы Виктории, с которой, однако, ни у кого нет общих знакомых. Однажды, впрочем, должен был проехать через город какой-то великий князь, но раскаялся и не проехал. Уже на моей студенческой памяти внезапно на главной улице, на Сибирской, земский начальник опознал приехавшего Николая Константиновича Михайловского[2] — и тем прославил свое имя. Земского начальника, конечно, уволили.

В пятерку вошла элита седьмого класса — поклонники классической литературы, не вошедшей в круг преподавания словесности. Нас учили только «до Гоголя», а дальше шло неизвестное и зловредное: Достоевский, Толстой и прочая молодежь. Но нам случайно удалось проведать о существовании Шекспира, который будто был даже и не Шекспир, а просто английский актер, о романах Диккенса, поэмах Байрона и преступлениях Белинского и Писарева. Оказалось кстати, что кроме оперы «Фауст», шедшей в нашем городском театре с необычайно толстой артисткой в роли Маргариты и местным зубным врачом Черномордиком в роли Мефистофеля, — есть еще на ту же тему написанное произведение немца Гете. Потом обнаружились и еще писатели, иностранные и русские, Щедрин, Золя, Мопассан, Златовратский, Анатоль Франс, — и так мы докопались даже до только что вышедших «Пестрых рассказов» Чехова.

Всех этих писателей мы читали вслух, не всегда в составе всей пятерки, так как братья-близнецы Черных были хронически влюблены всегда в одну и ту же гимназистку, а у Константина Лукина были какие-то тайны и он часто пропускал литературные собрания. Неизменным упорством и постоянством отличались только мы с Володей Шаровым, у которого всегда и происходили чтения. Что его отец был жандармским генералом — это не беда; генерал редко бывал дома, матери у Володи не было, и Володя, имевший прекрасную большую комнату, был юношей самостоятельным и обходившимся без отцовской опеки. Был у него и старший брат, студент, но тот с отцом порвал отношения и жил в Москве. Итак, частью в полном составе пятерки, а чаще всего вдвоем с Володей, мы прочитали вслух всех русских классиков и критиков и все, что считали лучшим в иностранной, имевшейся в переводе, литературе.

Затем, совершенно случайно, пришла очередь для литературы, о существовании которой мы еще не знали; она была обнаружена Володей на отцовском столе. В генеральском кабинете были очень удобные кресла, и когда он был в отъезде, мы предпочитали читать у него. Уж не вспомню сейчас, какая самодельная гектографированная брошюра привлекла наше внимание; несомненно, она была отобрана при каком-то обыске. Начав ее читать, мы не пожалели ночных часов и бродили наутро с головами, отуманенными не только недостаточным сном. Жандармский генерал помог нам довершить образование литературное и начать революционное. От красот поэзии мы перешли к обманам прекрасных идей, к такому «раскрытию глаз», какого генерал никак не мог желать. Нашлось в его личной библиотеке и еще кое-что, нас заинтересовавшее, а когда иссяк и этот источник, Володя взял на себя грех нарушения неприкосновенности отцовского письменного стола — и мы не только открыли клады, но и узнали, что в нашей губернии, и даже в нашем тихом городе, живут таинственные люди, желающие пересоздать мир и во имя этого готовые на всякую жертву, и что преследованием и изничтожением этих героев занимается Володин отец.

Володя довольно легко пережил раскрытие этой тайны: любознательность и авантюра ослабили впечатление от краха сыновних чувств; с ним произошло то же, что уже случилось с его старшим братом и о чем, хотя и без особого интереса, он немного догадывался и раньше. Тайну, открытую нами двоими, мы не вынесли на обсуждение пятерки, а решили лишь слегка приоткрыть Константину Лукину, которого мы сразу заподозрили в связи с неведомыми героями. Ему мы рассказали о брошюре, случайно попавшей в наши руки, и приятно поразили его некоторыми вычитанными фразами и буйными мыслями. Лукин сознался, что он кое-что подобное читал и слыхал. От братьев-близнецов все было скрыто, не потому, что мы им не доверяли, а просто ввиду их явного легкомыслия: в это время один из них, Алеша, разочаровавшись в гимназистке, с которой ежедневно катался на катке, уступил ее брату Мите так, что она об этом даже не догадалась: они были похожи друг на друга вплоть до родинки на левой щеке; затем, пожалев о своей жертве, он опять вытеснил брата и продолжил роман с того места, на котором тот его кончил. Таких проделок классическая литература не одобряла, а революционная совсем не предусматривала, и мы братьев-близнецов от своей тайны отставили.

Скоро наша тайна осложнилась тем, что мы нашли в столе генерала подозрительный список и телеграфный шифр. И то и другое для себя переписали — вдруг зачем-нибудь пригодится! Шифр действительно пригодился для чтения телеграмм, а в телеграммах встретилось упоминание и фамилий, значившихся в списке. Как раз в то же время к генералу стал часто приезжать прокурор, а Володя и раньше знал, что их свиданья предшествовали долгим ночным отлучкам отца или его отъездам в уездные города.

Было совершенно естественно, заманчиво и крайне интересно противопоставить тайнам жандармским — тайну нашу. К столу был подобран ключ, а в маленькой домашней канцелярии генерала столы вообще не запирались. Разбираться в делах было нелегко, но кое-что мы все-таки постигли сразу. Так, например, мы догадались, что телеграфный приказ, в связи с приездом прокурора, означал близость действий. Тогда мы вызывали Костю Лукина и тоже устраивали совещание. После расшифровки фамилий Костя отправлялся известить кого-то из «главных» о нашем открытии, — и после ночной отлучки генерал за обедом уже не был, как прежде, веселым, а хмурился и бранил прислугу: мы явно портили ему карьеру. Должен сказать, что нас это занимало больше как опасная игра и как «ужасная тайна», и потому, несмотря на все просьбы Кости Лукина допустить его к нашим «документам», — вероятно, он имел прямые поручения, — мы решительно ему в этом отказывали: тайна и организация наши, Костя — лишь необходимая связь с потусторонним миром. В нужную минуту мы всегда окажемся на высоте!

И мы это доказали. Дело шло о нелегальной типографии в нашем городе, точнее — о листках, печатанных на гектографе. Генерал получил точнейшие сведения с адресом и готовил неожиданный налет. Разумеется, это заинтересовало и нас с Володей. Срочно предупрежденный Лукин, на этот раз оказавшийся совершенно не осведомленным, получил от нас адрес и отправился действовать. Мы предупредили, что обыск будет в эту же ночь. Там, куда мы отправили Костю, произошел переполох, и испуганные типографы, доверившись Косте, тут же нагрузили его коробками желатиновой массы, чернилами, ворохом отпечатанных листков и всем, что могло выдать их работу. Не смея тащить это к себе домой, Костя добросовестно доставил все в квартиру жандармского генерала и отдал нам, — целый объемистый багаж. То был вечер торжества и страха. В чистенькой комнате Володи было негде скрыть этот революционный ворох, и мы, опасаясь раскрытия нашей тайны, когда, по уходе Володи в гимназию, будут прибирать его комнату, догадались использовать темную спальню генерала, где небольшими пачками засунули за платяной шкап всю типографию, которую он так жаждал обнаружить. Может быть, это было не особенно благоразумно, но зато в духе самых занимательных романов, хотя еще не детективных, потому что таких в наше время еще не писали и не читали.

Обыск, в ту же ночь произведенный генералом, имел скандальный неуспех: даже пятен от гектографических чернил не было обнаружено, и руки хозяев оказались чистыми. После Лукин говорил нам, что кто-то все же был арестован, однако скоро выпущен: не было никаких решительно улик. Несмотря на воскресенье, генерал в день после обыска вызывал в свою личную канцелярию и громил на чем свет стоит разных людей, а Володя, прислушиваясь, замирал в восторге и ужасе. Говоря по совести, мы были напуганы своей собственной проделкой и только спустя несколько дней решились извлечь из-за шкапа и вынести из дому нелегальную типографию. Под вечер в двух пакетах мы унесли ее за город и закопали в глубокий снег среди первых деревьев леса, подходившего почти к самому городу. Бумаги мы догадались сжечь в печке дома. Подвиг был закончен — и наступило успокоенье.

Что было дальше? Дальше мы кончили гимназию, то есть литературу «до Гоголя» и историю до освобождения крестьян. Володя стал инженером, я — адвокатом, братья Черных врачами, уже меньше похожими и не замещавшими друг друга у постели больных. С Константином Лукиным мы жили вместе в Москве на Бронной в Гиршах, но только до второго курса, когда я впервые был сослан на родину, а он гораздо дальше, я вернулся, а он умер от тифа на сибирском этапе. Вообще дальше была жизнь, не вполне предусмотренная классической литературой и гектографированными листками, но и не столь уж неожиданная для прятавших типографию за шкап жандармского генерала.

ПОЭТ

Учителя чистописания женской гимназии звали Михал Афанасьич Афанасьев.

Учителя чистописания мужской гимназии звали Африкан Сидорыч Сидоров, а по кличке Африкашка.

Судя по тому, что отчества у обоих совпадали с фамилиями, а также по другим признакам и по преданию, было несомненным, что оба они выросли из кантонистских детей; первого крестил отец Афанасий, второго отец Сидор, или же имена эти носили их приемные отцы. В городе нашем таких кантонистских детей было много, и все они были уже стариками.

Африкашка был человек серьезный и положительный; учил он писать палочки и загогулины и марать тушевкой кубы и шары. Отметки ставил всегда с плюсом или минусом. Три с плюсом и еще три с плюсом давали в выводе полных четыре балла, потому что:

— Плюс значит половина. Плюс да плюс, — один. Сосчитай — и поймешь, как это получается!

Мы ничего против не имели и Африкашку любили. Он был косой. Когда он грозно смотрел на одного ученика, его сосед в страхе подымался. Тогда Африкашка переводил глаза на него, — и сейчас же в испуге подымался следующий. Так Африкашка и не мог никогда попасть глазами на того, к кому действительно обращался.

Порицание и одобрение Африкан Сидорыч выражал одним словом, только с разными окончаниями. Слово это начиналось на букву «г», а кончалось на «няк» (порицание) или на «нячок» (одобрение). Я, например, получал обычно четыре с плюсом (в выводе пять), и потому именовался «г...чком». Это было ласково и очень приятно.

Михал же Афанасьич таких слов не употреблял, так как, во-первых, учил девочек, а во-вторых, был поэтом. О нем я и хочу рассказать, а Африкашка мне припомнился только кстати, в параллель. Впрочем, они между собою дружили.

Михал Афанасьич, достопримечательнейшая в нашем городе личность, был ростом мал, лицом кругл, брит и улыбчив. Брился он иногда, не часто, и потому был повсеместно щетинист с сильной проседью. Носил длинный старый сюртук, под которым не было видно, целы ли панталоны и какого они, приблизительно, были раньше цвета. В зимнее время он носил не то шубку, не то дамскую теплую кацавейку, рыжеватым мехом наружу и с буфами на плечах. На каждом рукаве было нашито по меховой же, только другого цвета, манжетке, вроде муфты, и слиянием этих муфт он грел себе руки. Шапка круглая, вязаная, отороченная мехом, но с козырьком-наглазником, а шею он закутывал высоко шарфом очень сложного цвета.

На ходу Михал Афанасьич мелко перебирал ногами и часто останавливался, повертывался всем туловищем и смотрел по сторонам, не видно ли знакомых. Знаком же ему был весь город, от мала до велика, от приготовишки до вице-губернатора. Все ему кланялись, и всем он кивал и посылал неизменную улыбку, вроде улыбки Моны Лизы, но только подобрее и поуловимее.

Потому все знали Михал Афанасьича, что он не появился откуда-нибудь, как это бывает с другими, а существовал всегда, до начала города и появления первого человека. Вероятно, он именно и был этим первым человеком. Это не значит, что он был стариком. Ни определенного возраста, ни определенного пола у Михал Афанасьича не было, — по крайней мере, он не казался слишком старым и не предполагался мужчиной. Не было у него и биографии, то есть какого-нибудь прошлого. Повторяю, он существовал, на памяти старожилов, всегда, в том же возрасте и в той же дамской шубке мехом наружу, которую он неохотно снимал и летом.

Жил Михал Афанасьич в маленькой чердачной комнатке старого деревянного дома. Никто у него не бывал, сам же он бывал у всех и всюду, везде встречал привет и ласку, так как он не засиживался, а, погостив четверть часа, шел еще к кому-нибудь. Ни одно праздничное собрание, ни одно театральное представление, ни один концерт не обходились без присутствия Михал Афанасьича, хотя никогда в своей долгой жизни он не покупал (да и не мог купить) входного билета и не получал приглашения. Он просто приходил и присутствовал. В театре он заходил в ложу и говорил:

— Здравствуйте.

— А, Михал Афанасьевич. А где вы сидите, Михал Афанасьевич?

— У вас в ложе.

На следующий же акт переходил в другую ложу или садился в партере на свободный стул.

Михал Афанасьич обучил чистописанию не менее двух-трех тысяч девочек, потом их дочерей и их внучек. Но не в чистописании дело: всех своих учениц и вообще всех в городе он научил любить поэзию, потому что сам он был прежде всего поэтом.

Неизвестно, читал ли он когда-нибудь Пушкина или Лермонтова, хотя имена их знал и произносил с восхищением, считая их равными себе. На уроках чистописания он заставлял учениц писать стихи, — но только свои собственные. При встречах, при разговорах он говорил стихами, — но своими собственными, тут же сочиненными. Многим он преподносил стихи, отлично переписанные, — но лишь свои собственные. Ни одно событие в мире, в России или в знакомой семье не оставалось не отраженным и не отмеченным музой Михал Афанасьича Афанасьева. Атмосфера поэзии так же неизменно окружала его и всюду за ним следовала, как окружал Африкана Сидорыча и следовал за ним крепкий аромат нюхательного табаку с малинкой.

Поэзия Михал Афанасьича (будем говорить просто) была потрясающа и ужасна. Над его стихами смеялись, но редко кто не знал наизусть хотя бы пяток его стихотворений и экспромтов на случай.

Стихи лились из закутанного шарфом рта Михал Афанасьича свободным потоком, без задержки и во вполне законченной форме. Всегда окруженный детьми и взрослыми, он осыпал их блестками своего дарования. Идя в их толпе из гимназии, он чеканил:

Вы дети прекрасной природы,
На вас любовались народы.
Вы домой обедать идете
И в сумках отметки несете.

Это было правдиво, подходяще к случаю и вызывало неподдельный восторг.

Самому себе Михал Афанасьич дал оценку в двух незабвенных строчках:

О ты, поэт, Пушкину подобный,
Твой талант пригодный!

Так как я еще гимназистом начал писать и даже напечатал рассказ, то пользовался любовью и лестным вниманием Михал Афанасьича, который не был ни горд, ни заносчив, ни завистлив и считал меня таким же собратом по перу, как и Пушкина. Однажды он мне посвятил, каллиграфически переписал и поднес стихи, в которых, по-моему, лишь одна строчка неожиданно растянулась не в меру:

О, милый друг, о, друг бесценный,
Ты бескорыстный, неизменный,
Прими мой дар, он дар священный
Для меня должен быть и для тебя, если только
не ошибаюсь,
Как им, так тобой восхищаюсь.

И еще помню, как в театре, на опере «Демон», Михал Афанасьич поймал меня за пуговицу и, улыбаясь слезящимися глазками, подарил экспромтом по поводу пения провинциального баритона:

Елеазаров в «Демоне» прекрасен,
Горд, силен и ужасен,
Над бездной адской он пролетал
И проклятья всем посылал.
Но добрый ангел прилетел
И другую песню запел:
Благословения всем посылал
И демон в бездну упадал.
Итак, наш Елеазаров
Блестит светлее всяких алмазов!

Это было уже совсем недурно, и я попросил разрешения тут же записать чудесный экспромт, который на другой день стал известен всему городу.

Вполне допускаю, что Пушкин писал лучше, чем Михал Афанасьич. Но не допускаю, чтобы кто-нибудь когда-нибудь мог усомниться в искренней любви старого учителя чистописания к чистой поэзии. Этот человек, никому в жизни не причинивший зла, не завидовавший славе Гете и лаврам Шекспира (он и имен их, вероятно, не знал), — всем, от мала до велика, примером жизни и опытом любви незаметно внушал, что выше жизненных благ и личных страстей — бескорыстное творческое горение, что в нем — истинный смысл бытия, в нем — утеха мизерного провинциального учителя чистописания, живущего на чердаке, не имеющего запасных панталон. Оно возвышает его над толпой людей значительных и судьбою устроенных. Оно роднит его с великими, оно изъемлет его из быта и возносит к облакам. Червь ползущий, — но с крыльями Пегаса и лирой Аполлона! Конечно, директор гимназии, или даже учитель географии, или даже писец управления акцизных сборов — выше, почтеннее, значительнее, устроеннее в жизни, чем учитель чистописания женской гимназии. Но никто директора не любит, учителя географии боятся, писца не знают, — и все любят, все приветствуют, все знают поэта.

> Ему дарит свою улыбку
> Дитя, протягивая лапку.
> И приветствует также взрослый
> И очень высокий, и низкорослый.
> Все в одинаковой мере
> Оказали ему доверье.

И, правда, так это и было. Ярко же проявилось по случаю юбилея Михал Афанасьича.

Какого юбилея — точно я не вспомню. То ли семидесятипятилетия его жизни (хотя вряд ли он знал день своего рождения), то ли — вернее всего — пятидесятилетия чистописательной деятельности.

Вдруг почему-то оказалось, что предстоит его юбилей. Это так всем понравилось, что начали готовиться. Гимназистки вышивали закладки, гимназисты купили в складчину пресс-папье с запасной тетрадкой промокашки, учителя, тоже в складчину, решили устроить попойку, а все видные горожане подписались под адресом, отпечатанным в губернской типографии. Метранпаж типографии, человек опытный, нашел подходящую виньетку, служившую для музыкальных афиш: лира, венок и дудочка, вроде кларнета. Сбоку пустили амура, перерисованного с клише объявления о свадебных подарках. Текст адреса составил присяжный поверенный, а подписи пришлось перенести сначала на один добавочный лист, потом на другой, на третий, — получилась целая тетрадка. И отовсюду посыпались поздравительные письма, — изо всех уездов нашей губернии, из Сибири, из столиц и даже из-за границы, хотя, правда, из Финляндии. По всей России рассеялись ученицы Михал Афанасьича, и среди них, их мужей и детей оказалось немало людей с литературными и общественными именами, потому что приуральская наша губерния не скудна была талантами.

Ко дню своего юбилея и сам поэт заготовил ответное на все приветствия стихотворение, такое замечательное, что весь город потом повторял его отдельные строки, сопровождая невольную веселость самыми искренними словами симпатии.

Учителя обеих гимназий, прогимназий и епархиального училища так перепились в складчину, что директор побил свою кухарку, инспектор (по кличке Савоська — грязный нос) заперся в комнате и пил один, не выходя, целую неделю, а Африкан Сидорыч, растрогавшись, назвал начальницу гимназии любимым словом, приделав к нему женское окончание. Сам Михал Афанасьич ничего не пил, слушал речи, улыбался, вытирал глаза очень серым носовым платком и сочинял экспромт за экспромтом, из них один весьма удачный:

Благодарю всех почитателей,
Учеников, учителей и читателей,

Пью их поздравления, при этом
Сияя внутренним светом.

Да, это был праздник любви, признания и поэзии. Сверх того, купец Болдырев, дочери которого учились в гимназии и который вообще был меценатом, прислал Михал Афанасьичу большой отрез бумазеи в клеточку и три высоких крахмальных воротничка на два номера уже, чем самая тонкая человеческая шея. Вышитых же закладок от учениц гимназии поэт получил свыше тридцати.

День юбилея был воистину светлым днем жизни Михал Афанасьича Афанасьева, поэта и незлобивого человека. В этот день его оценили, он думал — как поэта, а я думаю — как превосходного чудака, за всю свою долгую жизнь не догадавшегося причинить кому-нибудь неприятность, оклеветать, подставить ножку, даже просто — использовать в личных своих надобностях. Со дня юбилея поэт Михал Афанасьич воистину просиял внутренним светом и сияние это проносил в душе и на лице до самой могилы. В кармане же костюма, сшитого им из бумазеи в клеточку, он с того дня неизменно носил свернутый в трубочку адрес и пачку самых избранных писем с приветствиями.

Умер поэт совершенно неожиданно и без подготовки. Правда, никто никогда не знал, здоров ли Михал Афанасьич или болен, крепок или непрочен, ест или голоден, в тепле живет или в холоде. Просто случилось однажды, что он умер и потому не пришел в гимназию.

Сначала удивились тому, что он не пришел на урок, потом — тому, что он умер: как-то раньше не случалось с ним ни того, ни другого. Так как и на другой день он не пришел на урок, то приятель его, Африкан Сидорыч, проведав об этом, решил к нему пойти. Придя же на чердак, Африкан Сидорыч увидал, что его коллега, учитель чистописания женской гимназии, лежит на постели бочком и ничком, свесивши одну ногу, уже одетую в башмак с дырочкой.

Африкан Сидорыч потрогал его, смотря косыми глазами будто бы на лицо, а в действительности на спинку кровати. Оба, и живой, и мертвый, помолчали, а затем Африкан Сидорыч сказал:

— Эх, г...чок! Кажется, скапустился.

На похоронах Михал Афанасьича было много малышей, приведенных парами. По пути следования печальной процессии — по тамошнему обычаю — набросали веток пихты, а на крест повесили венок из той же пихты с бумажными розами и с лентой, на которой было написано:

*«Спи спокойный прах от любящих учениц
М. Ж. Г.»*

Я был тогда студентом в Москве, и смерть поэта случилась незадолго до приезда моего на каникулы. Очень меня заинтересовало, что сталось с бумагами Михал Афанасьича, кто ими распорядился. Оказалось, что «имущество» его описано и отдано под охрану заведующего канцелярией губернатора; я этого чиновника знал.

— Да какое же имущество! Старый сюртук, да меховая кофта, да еще бумазейная пара, вот и все.

— А книги и рукописи?

— Книг никаких не было. А рукописи были, целый ящик. Не рукописи, а отдельные листочки со стихами. Так их в ящике и оставили; простой ящик из-под сахара, либо из-под мыла, в углу стоял.

— Можно их достать?

— Бумажки? Конечно, можно. Ящик остался на чердаке в комнатке, и никто там не живет, очень комната прокисла. Если вам нужно — берите их себе, наследников нет. Только на что вам такой хлам?

Я все-таки пошел по адресу. Встретила меня старушка-хозяйка. Долго не могла понять, чего я добиваюсь:

— Ежели наследник вы, так костюмчика ихнего уж нету, татарин купил.

— А ящик цел ли?

— Какой ящик? Простой деревянный? Этот стоит, только плохой ящик, не обрадуетесь. Коли надобно — берите, мне он ни к чему. Ящик его был.

— А бумажки в ящике целы?

— Бумажки понадобились! Я, батюшка, бумажки повыгребла, там мыши гнезд навили, нечистота была.

— Куда же вы бумажки дели?

— Сожгла, батюшка, все пожгла. Аль не ладно сделала?

Я подумал и сказал:

— Ничего, бабушка, не беда. Ну, будьте здоровы, бабушка.

К чему, правда, ворошить бумажки поэта? Поиздевались над ним при жизни — и будет. Да и вся его сила была не в писанных стихах, а в обильных экспромтах на разные случаи жизни. Правда, догадливые поэты сочиняют свои экспромты накануне и заучивают их перед зеркалом. Но Михал Афанасьич был слишком для этого бесхитростен и слишком уверен, что всегда в нужный момент придет к нему вдохновение.

Я посетил и его могилу в дешевой, больничной части кладбища, но зато в целом лесочке пихт и молодых елок. Там у нас очень хорошо быть покойником: прекрасный воздух, много места, лесок. Холмик и крест над прахом поэта как сейчас перед собой вижу.

Я, грешным делом, думаю, что именно этот никчемный и неудачливый стихотворец — и был настоящим поэтом, в отличие от тех, кто искусно стряпает строчки, но в ком нет чистой души и доверчивого расположения и к ребенку, и к взрослому, «очень высокому и низкорослому».

Да будет же почтена память того, кто, всей душой любя поэзию и стихотворство, — ни единой печатной строчкой не засорил русской литературы!

КАТЕНЬКА

Вот один из снов, которые повторяются:

Нужно отыскать переулок и дом в очень знакомом городе; от главной улицы либо два, либо три квартала (точно не помню), да квартала четыре налево. У нас всегда считали на кварталы. И вот я иду сначала спокойно, потом с легким сомнением, а к концу — бегом, волнуясь и с растущей уверенностью, что ни улицы, ни знакомого дома мне не найти. Потемнело, и горят фонари, и пустынно до странности. Все обежал, всю округу, — а дома нет и нет нужной улицы. Вернуться как-то безнадежно, а если итти вперед, — там начнется лес и родятся страхи: если начнется этот лес — ему конца нет и в нем навсегда потеряешься. А если бы найти этот домик (низенький, угловой, вход в него не с улицы, а через ворота), — найти бы его — и все бы стало ясно: в этом домике теплее и ласковее, чем во всех других домах и во всех городах.

Просыпаюсь (или только кажется) с большой тоской, а опять заснув — снова ищу понапрасному низенький домик в шесть окон по фасаду — и нет его.

Вот этот сон повторяется чаще, чем другие (чем полет с обрыва или наводнение, застигнувшее на острове). Интересен он тем, что и город, и улица, и домик, — все это из детства и из юности. Такой домик действительно был, принадлежал чиновнику казенной палаты, нетрезвому человеку Чикину, и жила в том доме Катенька, друг моего детства, моя неслучившаяся невеста.

Ее нужно описать с нежностью. Катенька красивой не была, но была лучше, чем красивой: миловидной, тоненькой, нежной. Природа отдала ей в пожизненное пользование самые добрые глаза на свете и самые трогательные ручки, о которых я вспоминаю, как о необыкновенной прелести. Как все Катеньки, она была светлой блондинкой, светлейшей — моточком светлого льна. Лучше всего она произносила слова: «Ну что это, ну!» Она часто говорила мне колкости и дерзости; получалось же так, что колкость и дерзость летят прямо в лицо, а как долетят — рассыпаются одуванчиком и только щекочут: это потому, что она одновременно посмотрит самыми добрыми на свете глазками и улыбнется. А на лице вопрос, очень осторожный: «Ну разве вы не видите, что немножко...» Я, по молодости, ничего не понимал, хотя Катенька мне очень нравилась. Лет нам было поровну, но Катеньки еще в гимназии делаются женщинами, мы же и в университете — недогадливые мальчишки; а я долго был, по-видимому, желторотым.

Мне так казалось, что для романа нужна неведомая женщина со жгучими загадочными глазами, а человека должна сжигать страсть. Никакая меня страсть не сжигала, ни прежде, ни потом, такая досада. Катенька же ничего общего с огнем не имела, была вроде снегурочки, только теплая; но у нас на севере снег вообще теплый, мягкий и ласковый, — южане этого не понимают. Если бы Катеньку сжечь, от нее остался бы не пепел, а ложечка воды, что-нибудь вроде росы; сама же она была незажженной белой восковой Божьей свечкой.

Еще нужно прибавить, что была Катенька умной и по-своему хитрой; я думаю, что она меня очень любила, — а вот ничего мне об этом не сказала. Под ручку мы ходили часто и у ее ворот подолгу прощались (когда я ее провожал с катка). Но как прощались? Она заранее снимала перчатку (руки в муфте), я тоже снимал, и мы, прощаясь, шутливо раскачивали руки, чтобы подольше не отнимать. Но чтобы пожимать по-особенному — этого не было. Другим девушкам я пожимал, вкладывая в пожатье целые фразы, — настоящая азбука Морзе; и они тоже пользовались таким телеграфом, — а Катенька никогда. Потом скажет: «Ну, будет, холодно», — а сама уходить не торопится. Так постоим — и опять прощаться.

Только один раз случилось — хотя отчетливо я не помню, — что я как-то забаловался с ее рукой. Это было дома у нее. Щекой приложился или как. Катенька все смеялась, а тут замолчала. И я в тот момент подумал, что — вот, как странно и хорошо. Но больше, право же, ничего не было.

Сначала годы гимназические, потом я приезжал студентом, а Катенька стала изящной барышней. И опять я ее провожал домой, болтал и важничал (я уже курил и носил пенсне). И хотя были мы очень дружны, часто виделись, хорошо говорили (только редко — посерьезному, больше в шутку, всякую чепуху), — но романа между нами никакого не было. На Пасху целовались — но это не считается. Да и не целовались, а христосовались. У меня нос большой, а у нее маленький, и она говорила: «Ну вас, неудобно». Глаза же ее, самые добрые на свете, говорили что-то другое, да я не понимал, и некогда было: на мне был отличный студенческий сюртук, и я важничал.

Когда я стал писать рассказы и думать, что такое любовь, — вот тогда мне впервые пришло в голову, что Катенька меня, кажется, любила, да и я, пожалуй, любил ее, только, по мальчишеству своему, не понимал этого. Оттого и не понимал, что считал любовь раскаленной печкой и безводной Сахарой и что должны быть всякие мучения и события, одним словом — беллетристика. Поняв же, я с тех пор часто стал вспоминать Катеньку и думать, что вот шли наши пути рядом — и не пересеклись. Где она теперь?

Во всяком случае — она была далеко. Я в ту пору уже шагал по морям, карабкался на скалы, за вихор вытягивал себя из болот, — делал свою биографию. Все больше по разным столицам и государствам и на разных языках. Травертины, да мраморы, да билеты Кука; а то — пляжи, гроты, на лице ирония, на груди крахмал, в кармане пусто. Переживал разные штуки, — и скорее записывал, чтобы не пропало для человечества. Иной раз старая дева писала: «Не могу отогнать впечатления от прочтения»... — ну, мне и приятно. Ишиас завел, издал несколько книжек, вышел из партии, играл в винт с прикупкой, пересыпкой и гвоздем. Вообще стал фигурой, и человек пятьдесят мне завидовало: считали меня выше себя.

Почему это человек не сидит на месте, а слоняется по белому свету? Помню вот, села на географическую карту крохотная летучая таракашка и начала ползать: то на океан заползет, то в Италию, то сядет на Бриенцское озеро и сидит, крылышки чистит. И опять — на Монблан, перелезет во Францию, крылышки приподымет — и засеменит ножками к северу, в Норвегию, словно ее гонит ветер. Долго я наблюдал однажды такую путешествующую насекомую — и сравнил с нашей жизнью: много сходства! И зачем я бросал окурок в кратер Везувия, когда есть для этого пепельница в том самом родном городе, где родила меня матушка, не зная, что из меня получится. Странная вообще наша жизнь!

Так прослонялся я, куря разные папиросы, немало лет. Сначала носил бороду, потом стал ее брить, а то появились в ней седые волосы.

В городе, где я жил мальчиком, замостили боковые улицы и поставили электрические столбы: впрочем, книжный магазин остался, где был, и колбасная Ковальского тоже. Сам город очень разросся вдоль реки, так что подумывали о трамвае, — верно, теперь уже давно проведен.

Как бывало студентом — подплыл я к нему на пароходе, вышел с чемоданом, — а в чемодане лишний груз в двадцать лет, не то чтобы тяжелый, а все-таки. Извозчику было безразлично: кого везти, зачём человек приехал; лошади — тоже. Мне же было немножко сладостно — вернуться в родные края на краткую побывку, по делам общественным. Родных здесь давно никого не было, знакомых имен не помнил. Одно помнил — имя Катеньки. И имя, и фамилию. И задумал: попробую я Катеньку разыскать, а как — увидится.

* * *

Был ненастный вечер, а я отсчитывал: два квартала прямо — три квартала налево, а может быть, и все четыре; а может быть, прямо не два, а тоже три. Поищем.

Вот тут немецкая кирка, а дальше забор, помню хорошо, — но на какой же это улице? Если теперь повернуть... где-то здесь и будет. Никак я не предполагал, что все дома похожи один на другой; раньше у каждого было свое лицо, ошибиться было невозможно. Теперь все старенькие, приземистые, в шесть окон по фасаду, вход со двора.

На одном повороте, много проблуждав, вдруг остановился. Двадцать лет назад стоял здесь, держал ручку, вынутую из муфты, маленькую и приятную:

— Ну, будет, холодно!

На сгибе другой руки висели коньки. А на моем пальто светлые пуговицы. Это было здесь, у самой этой калитки.

Спичку задувало ветром, но все же прочел: «Дом Чикина». Был такой чиновник, человек нетрезвый. Была у него жена, женщина молчаливая, добрая, неслышная. А Катенька была их дочкой.

Дальше, за калиткой, все знал твердо: и три ступеньки, и звонок слева, и в двери дырочку, через которую смотрят: кто пришел. Шаги же приблизились, как будто незнакомые:

— Позвольте спросить, здесь живет...

А мальчик ответил очень приветливо:

— Мама дома, я ее сейчас позову. Вы войдите.

Как трудно рассказывать, боюсь — не выйдет. Для нас, мужчин, годы — не такая тягость. Было двадцать — стало сорок; возмужал, может быть, немножко постарел, что называется, — успокоился, посолиднел. А для женщины...

Когда люди так встречаются — смотрят пристально, улыбаются, сразу разговориться трудно. Минутку смотрят на другого с любопытством (каков стал?) и сейчас же снова на него с тревогой (а какою нашел меня?). Очень странно так встречаться — после многих прошедших лет. Когда мальчик сказал: «мама дома» — я подумал: «Разве был у Катеньки братишка?» А тут вышла и сама Катенька... или это ее мать... нет, это Катенька сама.

Она сразу меня узнала и сказала:

— Ну вот, никогда бы не узнала, если бы встретила.

— А узнали же!

— Потому что слышала, что вы приедете. А то бы ни за что. Усы отрастил, и вообще.

Столичный какой-то. А уж сама я... молчите, пожалуйста.

Потом торопливо прибавила:

— А это мой сын, тоже Мишка. Одним словом, садитесь, потому что тут темно. Я сейчас принесу другую лампу. Ну, наговорила вам сразу глупостей.

Тогда я протянул ей снова руку, и мы стали качать руку, как бывало. А Катенька взглянула на меня самыми добрыми на свете глазами, только очень смущенными. Вот тут она была уж совсем прежней, может быть, потому, что и правда — было в комнате темно. Но только совсем, совсем прежней.

Потом вошла с лампой другая женщина, и полнее, и солиднее, и много старше, — и все-таки это была она же, ошибиться было невозможно. Очень трудно рассказать, и очень досадно, что все мы с годами изменяемся и стареем, — лучше бы остаться, какими были. Неостроумно все это придумано.

И мы стали понемногу разговаривать. Говорим, а голова думает о другом, и глаза смотрят и смотрят, рассматривают с жадностью, — что жизнь с нами наделала. Сознаться же, что смотришь, нельзя, нужно скрывать, будто бы и смотреть нечего: ничего особенного не случилось.

Нет, мне этого не рассказать. Очень уж трудно.

* * *

Катенька овдовела. Когда рассказала об этом, слышно было по ее тону, что она мужа не любила. Потом я узнал, что он был плохим человеком.

— Мишку моего видели? Он ничего себе, не совсем дрянной мальчишка. А Мишка он потому, что в вашу честь.

— Уж будто бы, Катенька?

Она сказала поспешно:

— Ей-Богу, ну правда же! — И, смеясь, перекрестилась.

Хоть и смеялась, а по глазам я увидел, что, может быть, и вправду в память обо мне она дала имя своему сыну. Не поймешь женщин — странные они.

Умер и чиновник, нетрезвый человек, ее отец. И мать умерла. Как прежде — поселилась Катенька в угловом доме, низеньком, старом, по фасаду шесть окон, вход со двора.

В первый вечер мы засиделись у нее поздно, говоря о пустяках и не очень оживленно. Больше друг к другу присматривались. Я про нее так скажу: конечно, — сильно изменилась Катенька, попросту говоря — постарела. И те же черты лица — и не те же: где припухлость, где морщинка, подбородок стал иным. Была в ней очаровательная свежесть — а уж теперь какая же. Но стоило закрыть глаза и слушать голос — возвращалась прежняя Катенька, мой друг детства, ужасная злючка и придира с добрейшими в мире глазками. И те же маленькие и теплые ручки (если их взявши — закрыть глаза).

Не знаю, что она обо мне думала. Что-нибудь такое же, не хуже. Мужчину года не так меняют, и я не был старым.

Если тут, в рассказе, сделать пропуск дня в три, то окажется, что опять мы сидим вечером на диване и тихо говорим, — я к ней приходил каждый день. Теперь мы говорим с откровенностью людей зрелых и на свете поживших. Говорим о том, почему так вышло, почему раньше (когда имело это смысл) линии жизней наших не встретились и не переплелись? Она мне прямо сказала, что любила меня по-настоящему, очень долго, даже когда выходила замуж. А я рассказал ей, что вспоминал о ней, когда вброд переходил моря и вперелет — горы.

Надо было нам во всем этом признаться раньше, когда стояли у ворот зимой и студили руки без перчаток. Тогда бы — ох, как хорошо было! Теперь же как будто поздновато...

В тот, в третий вечер случилось, что оба мы про себя подумали: а может быть, не поздно еще? Большая была в душе у нас обоих нежность, даже до жути. Стоял домик на тихой улице, темной, непроездной; был в комнате полумрак, скрывавший борозды времени. И будто мы вернулись к тем дням, к началу нашей молодой жизни. Мы еще не были стариками — отчего бы не стать молодыми, не наверстать ушедшего времени, не поправить ошибки?

Признаюсь, — был такой момент. Тикали стенные часы, а мы переживали свои минуты и все хотели обмануть и часы, и минуты. И тут, неслышно, в одних чулках, вошел мальчик Миша проститься перед сном с матерью. Посмотрел на меня умными и застенчивыми глазами, потом матери на шею — прощай.

И сразу мы отрезвели: на лицах морщины, на сердцах морщины, за плечами годы.

— Мне тоже пора. Завтра утром дела, а вечером — в дорогу.

Она мне ничего не сказала. Только: «Счастливого пути». Я сказал: «Не забывайте». А она: «Я и не забывала».

С тех пор я часто вижу сон: будто я ищу улицу и дом в родном городе и все не могу найти, сбиваюсь. Сначала ищу спокойно, потом с растущим сомнением, потом непомерно волнуясь, — не найти мне его! А если выйти за круг — там начнется лес и начнутся страхи. И лесу этому нет конца — потеряешься в нем навсегда.

Из многих повторных снов — этот самый частый. Хоть и привык я к нему, как и к другим снам привык, — все же, проснувшись, долго чувствую большую тоску и беспокойство.

Париж, 1927

ОТЕЦ ЯКОВ

Отец Яков, о смерти которого я недавно узнал, был замечателен тем, что страстно и действенно любил жизнь, не личную свою, не свои переживанья, а жизнь человеческого муравейника.

О личной жизни отца Якова я знаю очень мало, больше по устным преданиям провинциальных кумушек. Познакомился я с ним уже тогда, когда он стал бесприходным попом и на месте не сидел. Раньше он имел приход в малом городке северо-восточной губернии, имел жену и занимался делами общественными. Из-за дел этих и пострадал. Говорили, что собирал он деньги на голодающих (в 91 году), а отчета исчерпывающего не дал. Может быть, правда, а может быть, и неправда. Хитрый был поп, отец Яков, и его моральных качеств я так и не раскусил за долгое знакомство. Знаю также, что устроил он в своих местах, где-то в лесной тиши, женский приют или монастырек для подростков, и также через это пострадал. И опять подробности остались неясными и неизвестными. Точно же известно, что отца Якова, сана не лишив, прихода все же лишили, и стал он простым мирянином в рясе и с наперсным крестом.

Был толст весьма, нос имел достаточно яркий и, однако, не пил ничего, кроме чая; чай же пил ведерными самоварами, вприкуску или с вареньем. Пил, улыбался, слушал, что люди говорят, сам рассказывал мало, о себе — никогда ни единого слова. Где пил чай, там норовил и заночевать; обедать же не навязывался, но и не отказывался.

Познакомились мы в редакции провинциальной газеты[1]. Газета была большая, сотрудников мало; летом съезжались студенты — я тоже носил тогда синий околыш — и строчили фельетоны, хронику, передовицы; в редакцию приходили актеры (чтобы «упомянуться» в заметке), думские гласные (анонимно кольнуть самих же себя, «отцов города»), чиновники особых поручений (губернаторша благотворительный базар готовит), земцы (хозяйственные передовицы нам писали), маленькие литераторы со стихами, сельские учителя («сейте разумное, доброе, вечное») и много всякого народа. Приходил и отец Яков и приносил хронику, некрологи, этнографические заметочки.

Отец Яков знал всех и вся. Интересы его были разнообразны, сведения любопытны. Собирал зырянские песни, составлял азбуку для «вотяков», описывал неведомые племена, следил за карьерой врагов своих — благочинных, сообщал исторические анекдоты об архиереях, заглядывал в старообрядческие скиты, любовался новоотрытыми серебряными персидскими блюдами времен династии Сасанидов (Пермь и Вятка вели с Персией некогда меновую торговлю), понимал толк в уральских камнях, ведал всю родословную Шуваловых, Строгановых, Абамелек-Лазаревых, Поклевских-Козелл. Мелким неразборчивым почерком строчил заметочки по одной копейке за строчку и не сердился, если половина не шла в печать.

Печатал он и книжки — много книжек, больше все брошюры исторического или этнографического характера, да разные инородческие грамматики и словари. Позже, в Москве, я однажды редактировал его книжку, содержания которой сейчас не упомню, — что-то о Прикамье. Из перечня его «трудов» на обложке я узнал, что книжка эта — opus 50-й, ни больше, ни меньше. За редакторский труд обещал он мне уплатить не деньгами, а землей в Вятской губернии, по десятине за печатный лист, итого восемь десятин. Земля — строевой лес, девственный, гигантский. Железной дороги в тех краях еще не было, и стоила там земля 93 копейки за десятину. Купчей мы не сделали, все откладывал отец Яков, да и я не спешил. Прибавить же по 7 копеек за лист и уплатить мне деньгами за 8 листов 8 рублей отец Яков не хотел: не было денег свободных. Тем это дело и кончилось.

Постоянно в городе отец Яков не жил: набегами появлялся. И приезжал он то из Чердыни и Соликамска, то из Сибири, или из Вятки, или из поездки по Каме. Под мышкой старый толстый портфель с бумагами, бумажками, книжками, визитными карточками, плакатами. Все собирал, всем интересовался. Говорил на «о»: «любо-о-о-пытно, о-о-очень любо-опытно-о! хо-о-рошо!» И ни об одном человеке никогда не говорил плохо. Может быть, и думал, да умалчивал.

Робким отца Якова назвать было нельзя. И не шла робость к его грузной фигуре с иерейским животом и богатой каштановой шевелюрой. Но от неуверенности что-то было; долго присматривался к человеку, прежде чем заговорить с ним благодушно. Очевидно — немного побаивался людей отец Яков, особенно местных: на кого попадешь. И все же тянуло его к людям. И в редакцию больше ходил людей повидать, побыть у источника слухов, известий, политических и житейских новостей.

Осталось из тамошних, местных о нем воспоминаний еще одно в моей памяти. Как-то в нашей же газете летом появилось объявленьице странного содержания. «Жена священника Якова Ш. ищет место кухарки или горничной. Адрес...». Не знал я семейных дел отца Якова, но несомненно объявление было умышленно так составлено. Про жену его слыхал, что она женщина умная, курсистка. Ничего, прошло месяца полтора, — опять зашел в редакцию отец Яков, заметочку принес. Об объявлении, конечно, ни единого слова.

Должен я все же сказать, что все эти разные слушки про отца Якова так слушками и оставались: ничего положительного и точного никто не знал, и знакомство с ним водили все, так как был он скромен, приветлив, знающ, по-своему культурен. Епархиальная среда его недолюбливала, — не она ли и наводила тень на его имя? В провинциальном болотце не любят людей, чем-нибудь выдающихся; а отец Яков по интересам своим не был рядовым человеком.

Ближе я узнал отца Якова уже в Москве, когда окончилось мое студенчество и началось адвокатство — в самом начале девятисотых годов. Мы тогда маленькой литературной группочкой издавали листовки для народа: книжечки на плохой бумаге, для цензуры не очень заметные, а с «направлением»[2]. Издателем был хитрый и ловкий книгопродавец у Ильинских ворот, сам — из владимирских офеней, хороший человек. Звали его Иван Иванычем, как и отца его, и деда, и прадеда. Фамилии не назову[3] — он жив и здоровехонек, и еще не старый человек. Книжка-листовка стоила в розницу 1 копейку, офени на базарах торговали по 1½ и по 2 копейки. Издатель продавал по 60 копеек за сотню. Доход издателя с 12 тысяч экземпляров был 6 рублей, из которых автору уплачивалась половина: 3 рубля за печатный лист! И однако нас заметили и позже стали цензурно угнетать; кажется, повлияла очень одобрительная рецензия сразу о всех наших книжках в гольцевской «Русской Мысли». Литературная компания наша была совсем маленькой, незаметной; из «известностей» примыкал только старик Н. Н. Златовратский. Года два все же работали, и приятно вспомнить, что тысяч 200—300 экземпляров хороших книжек-листовок мы пустили в самую народную гущу, в самую деревню. По тому времени это было делом немалым и настоящим, чисто культурным, не партийным. Одна из книжек, нами выпущенных, и до сих пор бесконечно переиздается (К. Суздальцев. «Копейка рубль бережет»). Это была одна из первых народных книжек о кооперации.

Редакция была у меня на квартире, а отделение — в каморке за магазином издателя. Там стоял некрашеный стол, лавка, два стула, и иконка висела. Людей умещалось человек пять-шесть, с отцом Яковом меньше: был он грузен. А появился он здесь не как мой знакомый, а как давний приятель книжника-лубочника Ивана Иваныча. Обсуждали мы наши дела, в обеденный же час посылали мальчика купить красную головку, огурцов и хлеба. Отец Яков хлеб с огурцами ел, чаем запивал, до водки не дотрагивался. Но очень любил смотреть, как пьют другие, как языки сразу и развязываются, и заплетаются. Нравилось ему с нами. Сидит, слушает, пот клетчатым платком вытирает. Глаза хитрые и умные: хорошо жизнь понимал, и принимал ее радушно и в малом, и во всей полноте.

Хотя никакого отношения к издательству нашему отец Яков не имел, но сделался обычным членом нашей компании. Стал бывать у меня и у других. Квартира у меня была — проходной двор, и всяких людей встречал здесь отец Яков, особенно ближе к дням первой революции. Сам он никогда ни левых, ни правых убеждений не высказывал, отнекивался: «Это дело не мое, не таков мой сан». Но слушал жадно. К нему привыкли и не стеснялись. Иногда говорили такие слова и вещи, что никак священнику нельзя слушать. Ухмылялся поп, краснел иногда, а слушал: «Гово-о-орите, говорите, мое дело сторо-о-оннее». К десяти часам вечера клевал носом: привык вставать в седьмом часу, а то и раньше. Часто и ночевал у меня. А утром исчезнет — так и пропадает иной раз на месяц.

Потом опять появится с толстым своим портфелем и хлебным узелком.

— Где странствовали, отец Яков?

— Много был. В Вологде был, в Ярославль заезжал тоже. Хорошо-о-о! Люди какие! Хорошие люди там. Адресок оставлю вам, на случай поедете когда.

— Что вы там делали, отец Яков?

— Разное. Дела были малые. Осматривал приют, в храмах бывал. Главное — люди хороши. Любопытно-о! Мне все любопытно.

Иногда подробнее рассказывал, но не слишком словоохотливо. А людей посещал он по всем городам самых известных, самых общественных. Никогда ни от какого знакомства лишнего не отказывался. И многих я потом встречал, знавших отца Якова. У одного он обедал, у другого ночевал, с тем в музее столкнулся, разговорился. И росла в портфеле отца Якова коллекция визитных карточек и запись адресов. Дарил свои книжки на память с витиеватой надписью с завитушками.

В 1904 году зачастил отец Яков в Петербург. Возвращаясь, рассказывал о разных влиятельных дамах, у которых зачем-то бывал на приемах («Дела были к ним малые»), о Победоносцеве, до которого с трудом добрался («Посмотрел на него, сподобился!»). Сумел и к Плеве проникнуть. Когда появился Гапон — и к Гапону попал отец Яков. Жизнь в те дни закипала котлом, и не сиделось на одном месте любопытному попу: всех хотелось ему видеть, нельзя вблизи — хоть издали, нельзя поговорить — хоть послушать. Больше же всего интересовали его по тому времени «настоящие революционеры». Если бы у меня не было доказательств необыкновенной скромности отца Якова и полной бескорыстности его интереса к людям, — я бы, пожалуй, заподозрил его в том, что не зря он интересовался революционерами. Было много неясного в его прошлом, и в святые он никогда не лез. Но никто и никогда не мог пожаловаться ни на болтливость его, ни на его нескромную пытливость. Он любил смотреть, узнавать, слушать, но ни о чем не выспрашивал, стушевываясь немедленно, когда чуял конспирацию или видел, что стесняет. Довольствовался тем, что ему говорили, объясняли. Что давали охотно — то брал с пытливой жадностью.

Летом 1905 года я жил на даче в Покровском-Глебове, под Москвой. В качестве мизерного адвокатика, делами не обремененного, в город я ездил не каждый день, и то больше по революционным, чем по юридическим делам. Из города привозил на дачу шрифт для будущей подпольной типографии, здесь же, на свежем воздухе, варил гектографическую массу, писал пышные воззвания. Близко жили студенты-петровцы[4], и бывали у меня на даче разные встречи. Нередко приезжал и жил по два-три дня отец Яков. А постоянно гостил у меня один крупный террорист[5], которого усиленно разыскивали.

Это был человек исключительной силы духа, талантливейший, удивительной душевной чистоты и редчайшей выдержки. Он жил у меня и в городе, жил долго, с полгода, и был дружен со мной и с моей семьей. Значит, велика была его революционная выдержка, если я не знал, что он, живя у меня, участвовал лично в террористическом акте, потрясшем всю Россию. Великий князь проехал другими воротами и был убит не им. Спустя час после взрыва он сидел у меня в столовой и пил чай. Только год спустя я понял, почему дрогнуло его лицо и почему он отвернулся, когда кто-то из пришедших ко мне сказал: «Убит великий князь, и убийца арестован».

Но в частной жизни Николай Иванович* был приветлив, общителен, остроумен и бесконечно мил. С отцом Яковом он очень сошелся, и они целыми днями подтрунивали друг над другом. Справедливее, впрочем, будет сказать, что подтрунивал Николай Иванович, а отец Яков более или менее удачно парировал удары. У обоих было достаточно такта, чтобы в этих дружеских словесных состязаниях никогда не задевать больно святая святых друг друга: религии революционера и религии православного священника.

Очень мне памятны наши вечера на даче. За окном летняя благодать и прохлада, на лампу летят бабочки, к пузатому самовару стильно подходит красноликий отец Яков, а Николай Иванович — первый за ним в спорте чаепития. Если не было дам, то отец Яков позволял себе и распоясаться; изредка колыхал рясой, чтобы допустить ближе к телу свежий ветерок. Николай Иванович любил декламировать, а отец Яков слушать. Декламировал Николай Иванович удивительно, и сам он, некрасивый, немножко тронутый оспой, делался красавцем на загляденье! А иногда пели они вдвоем, тенором и баском, «Господи, воззвах к тебе» и «Чертог твой». И было это удивительно хорошо и благолепно.

---

* Это было его условное имя. Я здесь ничьих фамилий не называю, не хочу. Но прибавлю: лишь на днях я прочел в газете, уже здесь, в Берлине, что «Ник. Ив.» убит в Сибири чекистами: убит ударом револьвера по затылку за то, что отказался давать показания.

В одиннадцатом часу отец Яков зевал, прикрыв рот рукой, и отправлялся спать в свою каморку — вроде чуланчика. Коснувшись головой подушки — засыпал немедленно. Не так скоро туманил сон голову Николая Ивановича. Спал он в нашей столовой, одетым, у открытого в поле окна, с револьвером на стуле, — всегда готовый исчезнуть в темноте ночи. Так он спал уже больше года, с самого побега из восточной Сибири. Сложна была жизнь этого человека и полна приключений. Если бы не был он в этом очерке лишь попутным персонажем, — много листов мог бы я рассказать об этом чистом и пламенном революционере[6]; а знаю я не более, как о сотой части им пережитого.

В ознаменование дружбы своей, а также ввиду совпадавших интересов, поп и террорист решили обменяться обувью. Отцу Якову, по летнему времени, жарко было ходить в сапожках, хотя сапожки его были легки и хороши; Николай же Иванович о сапожках мечтал — удобны они на случай побега, ловчее в них. Ноги оказались одной меры, и произошел торжественный обмен: отец Яков получил ботинки на резине.

Не прошло недели, как Николай Иванович

был арестован в Москве, и удобные поповские сапожки помогли ему сделать на глазах конвоя необыкновенный прыжок через забор пречистенского арестного дома, где он был временно заключен и выпускался погулять на двор.

Описанием его побега были полны газеты (хотя и неточно побег изображавшие), а московский градоначальник (знаменитый одесскими погромами) метал громы и молнии, предчувствуя, быть может, от чьей руки ему суждено пасть.

Три дня Николая Ивановича не было; отцу Якову мы сказали, что его друг в отъезде. На четвертый день отец Яков с Николаем Ивановичем пили чай на крытой террасе, обмениваясь шуточками:

— Где же вы, Николай Иванович, пропадали целых три дня?

— Я, отец Яков, закутил. Натура у меня слабая.

— Наговариваете на себя! Не таков вы человек.

— А каков?

— Вы человек хо-о-роший. Сильный человек, без легкомыслия. А сапожки мои хорошо ли вам служат?

И так хитро смотрел поп, что я невольно думал: «Неужели догадывается?» Никогда ни одним словом никто не намекнул отцу Якову о карьере его приятеля, и даже я по тому времени мало знал о жизни Николая Ивановича, только самое необходимое, без чего невозможно доверчивое общение с человеком:

знал о его бегстве из Сибири и, конечно, знал подробности его последнего ареста и побега. Фамилии «Николая Ивановича» газеты не знали (и охранка еще не знала), а если бы знали и опубликовали, то отцу Якову это ничего бы не открыло: подлинные имя и фамилия террориста в нашем доме никогда не произносились. Одно могло навести отца Якова на размышления: были мы сильно озабочены в эти дни и, скрывая горе, заботы скрыть не могли.

И он догадался, только не сказал. А сказал позже, спустя недели две, когда снова пестрели газеты теперь уже подлинным именем виновника новой московской революционной трагедии, а сам наш «Николай Иванович», избитый, полузамученный, готовился заплатить своей жизнью за жизнь, отнятую им у старого врага — московского градоначальника. В страшное то время отец Яков, встретив меня в городе, спросил с усмешкой грустной:

— А в сапогах-то, в сапогах-то каких он был?

— Кто?

— Николай-то Иванович...

И смущенно, но с горящими, любопытными глазами выслушал подробный рассказ. Теперь скрывать было нечего, а на скромность отца Якова в отношении меня я не напрасно вполне рассчитывал. Приговор был уже произнесен, спасти приговоренного к казни не было надежды. Она явилась позже, дав нам большое счастье. А эти дни были полны хлопот, в успех которых не верилось, тяжелых и печальных столкновений с бестактностью партийного генералитета, забот о доставлении смертнику последней житейской радости: увидать жену и маленьких детей. Трудные были дни и странные: нити наших жизней пересекались и путались, а кровь любит омываться большей кровью...

Выслушал отец Яков с жадным любопытством. Больше, чем было сказано, не выспрашивал. Однако на дачу ко мне больше не ездил да и вообще стал показываться реже. Вероятно — опасался все же.

Для скромного и степенного исследователя жизни эксперимент был несколько исключителен по впечатлениям. Наблюдать людей и события отец Яков любил страстно; быть непосредственным участником уклонялся. А тут, наверное, почувствовал, что можно стать участником и помимо своей воли. Это ему не улыбалось: он слишком любил жизнь.

Вскоре колесо жизни так завертелось, что уже не запомнить случайных встреч. Этапами жизни было восстание, тюрьма, бегство, долгая эмиграция. Все же в Италии я получил однажды какой-то новый opus отца Якова с длинной, семинарски-изысканной посвятительной надписью. Но по возвращении в Россию его уже не встречал. Не сомневаюсь, однако, что еще долго продолжал он смотреть людей. Наверное, побывал у Распутина (любопытно-о-о!). Если дожил до большевиков — верно, мечтал повидать Ленина. Но, кажется, не дожил. Он как-то исчез с горизонта прежних своих друзей и знакомых. О смерти же его узнал я сравнительно недавно и без точной даты: «Умер отец Яков, а когда и где — неизвестно».

Кто он такой был, этот поп беcприходный? Несомненно — маленький культуртрегер своего края. Вероятно, порядочный плут. Думается — семейный деспот. Но одно верно: страстно любил смотреть жизнь! Катал по России в третьеклассном и скотьем вагоне, с портфелем и узелком, чертил ее зигзагами вдоль и поперек, смотрел, изучал, одобрял, прислушивался, укладывал в любознательную поповскую душу. Про портфель свой говорил бывало: «Тут у меня вся история, вся жизнь накладена!» Но так и осталась эта вся история в поповском портфеле, наружу не вышла. И заключалась она в каких-то справочках, адресах, карточках, брошюрах, листках; видно, все главное и важное держалось в памяти для себя, а не для потомства. С ним ушло в последний далекий путь.

Есть — вернее были — в России такие странные люди. Как будто — никчемные; а, может быть, полезные. Заложено в их душу великое любопытство, жадность до жизни великая. В других странах они были бы, возможно, замечательными путешественниками, исследователями. У нас — так, попусту треплются, то есть для других попусту, а для себя — полною жизнью живут. Это люди — пытливые наши глаза, жизненности нашей залог, жажды нашей носители. Я думаю, отец Яков сродни был странникам-землепроходам, искавшим наилучшей веры и земли наитучнейшей. Но интересы его были конкретные, более очерчены, а душа не столь возвышенной. Пытливость же к людям — та же самая.

И вот, когда, по слабости человеческой, я думаю, что недурно бы умереть (простейшее разрешение множества вопросов!), я припоминаю любимое слово жизнелюбивого отца Якова:

— Любо-о-опытно-о! Жизнь-то, она — интересная! Все хочется перевидать!

И, из уважения к памяти покойного, отгоняю соблазнительные мечтания и продолжаю тянуть канитель с того места, на котором остановился в задумчивости.

ПРО БАБУШКУ

Земский начальник остолбенел: навстречу ему шел живой портрет Николая Константиновича Михайловского, и даже пенсне на носу сидело слегка набок.

Земский начальник был страстным поклонником Михайловского и подписчиком «Русского Богатства». В этом не было ничего удивительного. Дело происходило в городе Перми, на Сибирской улице, которая сейчас, вероятно, переименована, в духе эпохи и к удивлению закамских медведей, в улицу Розы Люксембург или Беспощадной-Борьбы-со-Спекуляцией. Но тридцать лет тому назад на той самой Сибирской улице мирно спал в белом одноэтажном доме губернатор Арсеньев[1], человек почтенный, красивый, при седых усах — порядочный бабник и ровно настолько безвредный, насколько мог быть безвредным губернатор в отдаленной провинции. Не мудрено, что при нем и земские начальники могли поклоняться идеологу революционного народничества и властителю дум тогдашней молодежи.

Тем временем, однако, портрет Н. К. Михайловского прошел мимо. Земский начальник пришел в себя и сообразил, что другого подобного случая ему в жизни не дождаться. Поэтому он круто повернул, догнал портрет, вежливо снял форменную фуражку, крякнул и сказал в упор:

— Вы — Николай Константинович Михайловский?

По лицу портрета пробежала тень неудовольствия, но все же он ответил:

— Да.

Тут земский начальник, столь неожиданно выигравший двести тысяч, спешно и заикаясь от счастья, произнес ряд несвязных восторженных слов и восклицаний, которые в общем могли быть выражены тремя стихотворными строками, вроде:

Молясь твоей многострадальной тени,
Учитель, перед образом твоим
Дозволь смиренно преклонить колени...[2]

С этого момента земский начальник ни на шаг не отставал от Н. К. Михайловского. Это ему не помешало мгновенно оповестить весь город о высоком посещении и о том, как посчастливилось ему, земскому начальнику, установить личность высокого гостя на Сибирской улице, между колбасной Ковальского и музыкальным магазином Симановича.

Город, конечно, взволновался. О том, кто такой Н. К. Михайловский, знали очень немногие, и вряд ли даже единицам было известно, что Н. К. Михайловский некоторым образом совершает увеселительную прогулку по Волге и Каме, так как его выслали из Петербурга на время, пока изгладится нежелательное впечатление от одной из его публичных речей. Знали только, — да и то доверяя на слово земскому начальнику как лицу официальному, — что приезжий гость — знаменитый писатель и пробудет в городе несколько дней.

Больше и искреннее всех взволновался

миллионер-промышленник и пароходчик Н. В. Мешков[3], с этого момента ставший убежденным эсером, от программы-минимум до программы-максимум. Он назначил день для торжественного катанья Н. К. Михайловского на одном из своих пароходов, причем был приглашен фотограф увековечить властителя дум и владетеля миллионов, стоящих вдвоем на капитанском мостике, а внизу на пристани — толпа обыкновенных людей.

Но главный номер чествования устроила уездная земская управа: ужин на сорок персон в зале общественного собрания.

На этот ужин Н. К. Михайловский явился с почтенной дамой[4], о которой говорили шепотом, что эта дама тоже очень известная и знаменитая, но что имени ее произносить нельзя. С участников ужина брали в этом слово, и они давали слово с тем большей торжественностью, что почти ни один из них ее имени и не знал.

Почти тридцать лет я, тоже участник ужина, держал это слово, — но больше не в силах. Спутницей Николая Константиновича Михайловского была та, которую и сейчас называют не по имени, а просто — Бабушкой.

Ужин был замечательный. Я думаю, что подавалась стерлядка кольчиком и, вероятно, глухарь с брусничным вареньем, а на десерт — пломбир. Пили мы много; и водку, и удельное ном. 18 и 22. Николай Константинович умел и старался не отставать, — но от кондовых пермяков не отстать трудно. Бабушка (по тому времени, впрочем, еще не Бабушка) сидела рядом и посматривала на всех серьезными глазами.

И вот, сияющий и довольный, встал председатель управы, почтенный земец, только не из очень образованных и немного чиновник (при нем всегда умный и просвещенный секретарь, заботами которого был устроен ужин); слегка покачнувшись, но быстро обретя равновесие, председатель заговорил — и провозгласил тост.

Тост, конечно, за почтенного нашего гостя, знаменитого писателя земли русской, перу которого и пожелаем дальнейшего процветания на славу нашей родины. Ныне же в прикамском губернском городе Перми приветствует его пермское земство, призванное волею Нашего Возлюбленного Монарха и по Его предначертаниям обслуживать нужды местного населения...

Нелегко было Н. К. отвечать на такой тост, но так как он был незаурядным оратором, то нашелся. Прежде всего он заявил, что тост в таком контексте он принять по совести не может (председатель немного смутился). Но для него, Михайловского, ясно, что председатель имел в виду сказать иное, — о самодеятельности земских учреждений (председатель кивает), о роли третьего элемента (председатель в восторге), о необходимости борьбы за народное право (председатель растроганно встает), за мелкую земскую единицу и против административного произвола (председатель в слезах бежит чокаться).

Все мы, участники ужина, были очень довольны, что великий писатель и наш председатель поняли друг друга до конца и что все обошлось благополучно, хотя люди и выпивши. А то бывало у нас нередко, что кончались почетные ужины серьезной дракой.

Бабушка сидела смирно, слушала речи, но сама не говорила. Мой сосед за ужином спросил меня:

— А это кто же? Жена ему или сестра?

— Не знаю.

— Должно быть, сестра. Ее тут один назвал Катериной Константиновной.

* * *

Я рассказываю об этих далеких временах, чтобы доставить удовольствие Бабушке, — верно, она тогда не менее посмеялась речи председателя управы.

И еще напомню, как после ужина, уже глубокой ночью, шли мы небольшой толпой по булыжной мостовой Сибирской улицы, провожая наших почетных гостей домой, в гостиницу Благородного собрания. Шла больше молодежь, а старички разбрелись по домам или остались допивать недопитое. И впервые в истории города, со времен просветителей пермяков и зырян — святых Кирилла и Мефодия, улицы Перми оглашались пеньем «Варшавянки» и «Интернационала»; эта последняя песня еще не была тогда официальной и пелась со свободным вдохновением.

Проходили мимо дома губернатора, который, конечно, спал и сон которого охранялся городовым.

Городовой сначала высунул из будки нос,

потом появился в целом виде, со страшной шашкой, кожаные ножны которой были острее лезвия, с кобурой револьвера, в которой лежала краюшка хлеба, и в фуражке с огромной тульей. Увидав, что идут и поют не какие-нибудь жулики, а почтенные граждане и господа студенты, городовой приложил руку к козырьку, проводил компанию взглядом и стал туго обдумывать, надлежит ли докладывать о таком ночном происшествии околоточному. В инструкциях по полиции случаи подобного рода предусмотрены не были и ни подо что не подходили, так что можно было и за бездействие власти и за превышение власти получить по зубам не только от околотка, а и от самого полицмейстера.

Так закончился наш парадный вечер. Кажется, никаких последствий местного значения эта маленькая провинциальная демонстрация не имела. Я тогда носил студенческую тужурку и был представителем прессы, так что предполагался осведомленным. И однако, все, что могу припомнить в дальнейшем в связи с этим торжеством, ограничивается получением мною и другими от канцелярии земской управы повестки об уплате одного рубля за участие в ужине такого-то числа. Кто заплатил, а кто, пожалуй, и до сих пор остается должен.

О Бабушке во всем этом мало, — но ведь когда говорится речь о «борьбе за народное право» или когда слышится на улице бойкая песня — это все равно, что о Бабушке.

Так уж привыкли думать и говорить, что Бабушка — самый отчаянный на свете революционер.

С тех далеких дней я никогда не имел счастья видеть Катерины Константиновны; только почерк ее знаю. Может быть, при близком знакомстве Бабушка Русской Революции и поражает людей свирепостью и кровожадностью, хоть и не вяжется это как-то с портретом старой русской женщины в белом платке, с добрыми глазами и славной улыбкой уст, так часто произносящих имя Божье. И вот я заочно, а потому беспристрастно, составил себе особое о Бабушке представление, на которое она пускай не обижается и которым я охотно поделюсь.

От одного молодого человека, пившего в России молоко и за границей начавшего пить бордо, я услыхал про Бабушку, что через Бабушку погибла Россия. Я ему на это сказал:

— Это вы, молодой человек, напрасно говорите, и довольно глупо. Потому что Россия, во-первых, не через Бабушку, а сама по себе, а во-вторых, не погибла и погибать не собирается.

Бабушка же это — вся наша чудесная история, наша изумительная, еще не написанная книга. Ее и не напишешь попросту: она похожа на занимательную и нелепую сказку. Ни логики в ней нет, ни системы; но хороши слова и смысл их глубок.

Где это еще видано, чтобы молодые женщины, которым как раз время весело жить и молодо любить, надевали посконное платье и шли по деревням изучать народ? И чтобы потом, на этот путь вступив, так всю свою жизнь до глубокой старости и отдавали себя прекрасной мечте — служить этому народу по крайнему своему пониманию его блага? В мире происходят всякие события, меняются границы государств, кувырком летят правительства, тарантасы обзаводятся пропеллерами, вместо земской почты — радио, вместо лучины — динамо, вместо старой тюрьмы — новая, на смену Богу — разум, на смену разуму — Господь, а она, эта русская женщина, даже в шаге не сбилась; идет себе по дорогам своей жизни и несет свою прекрасную мечту, от этапа к этапу, через горе и радость, от холода к теплу, через тюремные дворы и светлые полянки. Идет, несет в руках полную чашу веры, — и хоть бы капельку пролила.

Может быть, рассуждая по-нынешнему, нужно бы давно и чашу выплеснуть и путеводную звезду свою заподозрить в обманчивом свете. За это время другие умные головы столько напридумали, столько перепробовали, вдоль и поперек исполосовали человеческую душу, накроили и нашили новых людей, одарили их великим счастьем автоматических перьев и электрических кресел; уж устарели и заново изданы словари, прежние потомки стали предками, прошла мода на полных, прошла и на худых, заперся папа римский в Ватикане, снова вышел папа из Ватикана, лихорадка стала инфлюэнцией, инфлюэнца испанкой, испанка гриппом, — а эта непостижимая Бабушка только до одного и додумалась: раньше ходила в народ — теперь пошла в человечество. А и чаша та же и в чаше то же: неподкупная и внеразумная любовь.

И до чего мне не интересно, с какой «партией» Бабушка «работала», в каких заседаниях она заседала, и одобряли ли ее пензенское временное правительство и сарапульская директория! И до чего смешно слышать, что села Бабушка не на той станции и приехала не туда. Как же так вертится земля вокруг оси, когда никакой у нее оси нет? Как бежит река без ног и без губ улыбается солнце? Есть еще такие люди, которые, выслушав чудесную сказку, непременно говорят:

— Этого не могло быть, потому что ковры по воздуху не летают, а рыба не говорит человеческим голосом.

И есть, значит, такие люди, которые никак не могут отделить бытие от газеты и человека от программы, для которых писаная история важнее живой жизни, а ботаника вкуснее цветущего поля. Крепкий народ, Бог с ним, и уж очень несчастный. Пьют они не воду, а аш-два-о, судят же не по совести, а прин-ци-пиально. Таких в рай пускают просто, по паспорту, даже без личного опроса, и там сразу — в назначенное стойло за номером.

Биография старого человека вообще — чудо; жизнь Бабушки — чудо тройное, настоящая поэма. Это даже не биография, а сама живая Россия в красках и музыке. По ней можно учиться читать, смотреть и слушать. А понатужившись — и понимать.

Англия — тоже женского рода, но ее можно мыслить в мужском образе; Россия же мыслится только в женском. Немудрено, что так легко учуять Россию в жизни старой женщины, посвятившей всю свою жизнь состраданию и сорадости родного ей народа. А уж в чем не грешна и что угадала — судить пока не нам.

Вот теперь Бабушку чествуют по случаю дня юбилея[5]. Ну что ж, в этом большой беды нет, а старого человека почтить хорошо. Выше я рассказал про речь председателя земской управы, не совсем складную и подходящую к случаю. Но я думаю, что он, председатель, хоть и напутал тогда, а искренне радовался, что довелось ему почтить знаменитого писателя, так сказать, — исполнить свой гражданский долг. Иной раз мало ли что скажется, всего не предусмотришь, — лишь бы с хорошим чувством и от чистого намерения.

Может на любую эпоху найтись свой председатель управы, догадливый и отходчивый. Бабушка же за долгую свою жизнь не гнушалась стольких речей, что ее теперь ничем не удивишь. Будет читать и слушать, по-своему проверять человека и оценивать — таково ее привычное занятие. А кто-нибудь запомнит, запишет, а по прошествии лет и расскажет — тоже по-своему.

ПРОХОДЯЩИЕ МИМО

Одни люди встречаются нам на жизненном пути, берут нас под руку — да так и идем, либо до перекрестка, а то и до самого конца: это — герои и героини нашего романа. А другие люди проходят мимо или обгоняют на боковой тропочке, ни локтем, ни взглядом не зацепивши.

Без первых не было бы у нас биографии, а зачем вторые — не знаю. Иной художник пишет картину, и все главное в ней понятно, а еще зачем-то поставлено близ угла красочное пятнышко; зачем — неизвестно, а нужно, с ним лучше. Это — как завитушка при подписи или как цветок в петличке серого пиджака.

Проходя мимо антикварной лавочки, видим за стеклом фарфоровые фигурки: пастушка, болванчик, музыкант, поп с крестьянской девушкой, мальчик делает в посудину детскую неприличность, барыня держит веер весь в дырочках, еще что-нибудь. Так и люди, мимо нас прошедшие, — никакой нет у них общей истории, и с нами не связаны ничем, а заметились случайно и по временам всплывают в памяти: покажутся и исчезнут.

Например — почтовый чиновник Нагорничных, которого я знал давно в провинции, и еще некоторые.

Нагорничных, Валентин Трифонович, был известен не только редкостной фамилией. Странных фамилий у нас было немало; был, например, газетный сотрудник Неузсихин, который так и подписывался под статьями; другие газеты ухмылялись и писали: «Скажите, пожалуйста, — писали, — даже г. Неузсихин не одобряет последних мероприятий правительства!» Но господин Нагорничных, при совершенно невероятном росте (он был раз навсегда выше всех), имел на плечах маленькую круглую розовую голову с голубыми глазами и вечной улыбкой, очень приятной, и не заметить его было невозможно. Он служил на почте, но не у окошечка (пришлось бы ставить окошечко много повыше), а кем-то внутри, не на публике. На публике же он выступал с чтением стихов, потому считал себя самородком по части декламации.

И когда он читал стихи, то вытягивал свои губы в трубочку, точно сейчас засвистит; а вместо свиста говорил:

Украшают тебя добродэт-тели,
До которых другим далеко, —
И беру небеса во свидэт-тели —
Уважаю тебя глубоко!

Он считал это лучшим произведением Некрасова. Но когда хотел (на бис) поразить и вызвать слезы, то сгонял с лица улыбку и тонким, но мощным голосом, вытаращив голубенькие глазные яблоки из их щелок, кидал с чувством:

Но не лучше ли, прежде чем брос-сим
Ей в лицо приговор-р-р-роковой,
Подзовем-ка ее да расспрос-с-сим...

И тут действительно рявкал:

Как *(пауза!)* дошла ты до жизни такой?

Очень большое производил впечатление. Главное — человек огромный, точно с потолка говорит. На афишах он именовался буквой «Н» со звездочками, а не полностью. Но уж мы знали, если «Н» со звездочками — значит, господин Нагорничных.

Вот и все о нем: прошел и ушел.

Но тут попутно сейчас же вспоминается бас Ташентух из мехового магазина, солист.

В любительских концертах они выступали часто один за другим — и до чего же были непохожи! Бас Ташентух, несостоявшийся великий артист, был роста неудобного для мужчины; так, господину Нагорничных он приходился до грудобрюшной преграды. Правда, он надевал каблуки и причесывал волосы дыбом вверх, — но не помогало. И был он очень черен от волос, даже в бритом виде. Когда же открывал рот для пенья, то весь как-то исчезал, а рот оставался. Голос же у него был невероятно громкий и такой, что в груди не задерживался, а весь сразу выходил наружу, заполняя даже большую залу.

Незаметно работая по меховому делу, бас Ташентух сразу делался заметнейшей величиной, когда в город приезжал крупный музыкант, певец или же опера. Он тогда появлялся всюду с таким видом, что казалось, будто это он и приехал давать концерт. К нему обращались с расспросами и даже за скидочными билетами, и он все мог рассказать и все сделать. Очень уж он любил музыку и, я думаю, отлично ее знал. Если бы не неудобная наружность да не меховая помеха, он мог бы очень выдвинуться на музыкальном поприще. Так в провинции пропадают таланты!

Сам он выступал у нас главным образом с двумя любимыми ариями: Сусанина из «Жизни за царя» и Гремина из «Евгения Онегина»; а на бис пел Мельника из «Русалки».

Нужно сказать, что Шаляпина тогда еще не было, а ведь это Шаляпин ввел, что Сусанин слова «Чуют правду» цедит сквозь зубы, негромко и из глубины. Раньше же эти два первые слова певцы грохотали во все легкие. Бас Ташентух тоже так делал: сразу потрясал залу, так что казалось, что дальше и говорить не о чем. А он, дойдя до слов «про царя», — дальше переходил в нежное мычанье, напирая на букву «у»:

Ту-у-взуйдешь-у-муя-у-зуря...
Взгляну-у-в лицу-у-у твойу...

А как он пел слова: «В мой смертный час, в последний час», — этого я просто не могу передать! Было в его голосе некоторое дребезжанье, единственный недостаток, и потому на слове «смертный» зала раскалывалась пополам и было очень трудно сидеть на стуле, а с потолка падали чешуйки высохших белил.

В нашей газете[1] рецензент, который подписывался под статьями о драме «Маска», а под статьями об опере и концертах «Диэз», писал:

— «Г. Ташентух, незаменяемый любимец публики, дал незабываемый образ Ивана Сусанина».

Теперь, без всякой связи с предыдущими, расскажу еще о чете Акулишиных, тоже из нашего города.

Акулишин был нотариусом; человек почтенный, в городе всеми уважаемый, лет пятидесяти пяти. Со своей женой, Еленой Пахомовной, он разошелся по причинам мне не известным. Она, правда, выпивала, особенно любила рябиновую, но, кажется, начала выпивать уже после того, как они разошлись. Она была на вид, а может быть, и действительно, много его старше. И не жили они вместе уже лет пятнадцать.

Город наш маленький, не встречаться нельзя. Знакомые приглашали их порознь, чтобы не вышло неприятности, но на улице, особенно на главной, которой, куда ни иди, никак не минуешь, им приходилось часто встречаться.

Госпожа Акулишина была ядовитой женщиной — при всей своей бедности. Чем она жила — не умею сказать; то ли шила белье и платья, то ли имела от мужа какую-нибудь условленную пенсию. О нем она говорила всегда с крайним негодованием, называя его «выдающимся мерзавцем». Это, однако, несправедливо и пристрастно, потому что нотариус был хорошим человеком, дурного о нем никто другой сказать не мог. Он же про нее разговаривать не любил, только презрительно фыркал: «А ну ее!»

Но почему я о них рассказываю — это из-за обычной сценки при их случайных встречах на улице. Сотню раз они встретились — и сцена всегда была одна; точно они разучили ее нарочно для публики и, ввиду успеха, неизменно повторяли. И мы, хотя очень привыкли, а невольно останавливались и смотрели, как это происходит.

Увидав бывшую свою жену, нотариус Акулишин выпрямлялся, становился моложе и бодрее, поправлял галстук, застегивал пуговицы пальто и, поравнявшись с нею, приподымал вежливо шляпу и галантно спрашивал:

— Еще не изволили издохнуть?

На что она, так же любезно, с достойным поклоном, на ходу отвечала ему отчетливо и раздельно:

— Не хо-чу и не ум-ру!

И все это с достаточно приветливыми улыбками и громко, проходящих нисколько не стесняясь.

Иные у нас были на его стороне, другие на ее, а в общем все привыкли и к обоим Акулишиным относились хорошо и спокойно. Действительно — живут люди и никому жить не мешают, даже и друг другу. Что же до личных их не совсем правильных отношений — тут уж ничего не поделаешь.

Еще был у нас один человек, земский статистик[2], который ходил боком. То есть, конечно, не совсем боком, а так казалось. Я думаю, что он просто ссиделся от постоянных занятий, и когда выходил, то совершенно расправиться не мог. Шел он всегда правым боком вперед, а под левой мышкой держал много книг. И вот почему-то казалось, что правая нога, вместе с калошей, у него побольше, а левая поменьше, и то же с руками. Может быть, это от перспективы, и называется, кажется, в «ракурсе», хотя точно не знаю.

И вот, бывало, встретишься с ним так, что нужно, чтобы разойтись, посторониться; у нас тротуары на боковых улицах были деревянные, и иногда доски не хватало, проход оставался узкий. Казалось, ему бы, при привычке ходить боком, так и нужно остаться, чтобы занимать меньше места; а он, наоборот, именно тут как бы расправлялся, повертывался к вам либо всей грудью, либо всей спиной, смотря по тому, с какой стороны попадешь. И получалось неудобно.

После того, что я о нем рассказал, вы легко поймете, как мы удивились, узнавши, что этот человек, ходящий боком, написал книгу, и про книгу его пошел большой разговор не только у нас в городе (у нас-то меньше), а по столичным газетам. В первый же день, как я об этом узнал, я нарочно в начале пятого часа вышел на улицу, которая вела к Земской управе и по которой он всегда возвращался домой. Меня заинтересовало, неужели он и сейчас, так прославившись, пойдет боком?

Сразу издали увидал: идет! И идет, как всегда, — правое плечо вперед. Судьбе же было угодно, чтобы мы как раз столкнулись на трудном и узком месте, так что я мог очень близко его рассмотреть. Когда он ко мне повернулся, то я увидал над плохой белокурой бородкой и обыкновенным носом — очень красивые и очень грустные глаза. От славы — ничего: ни гордости, ни радостного выраженья! Меня это, признаюсь, очень поразило. С тех пор я стал думать, что известность сладости не дает, и перестал к ней стремиться, хотя шел в гимназии третьим учеником (первым был заика, а вторым сын городского головы).

Прибавлю, что впоследствии, как я узнал, этот боковой человек был в нашем городе во главе революции. Вот уж нельзя было предположить! Где он сейчас — ничего не знаю.

Можно было, напрягши память, рассказать и еще о многих людях, в жизни прошедших мимо, прямо ли, боком ли, но отлично от других, оставив в памяти след. Насейчас будет пока и об этих.

«ИЗВЕСТНЫЕ ПО КАЧЕСТВУ»

Перебирая в памяти встречи с замечательными и не очень замечательными людьми, отступая для этого во времена достаточно давние, я ловлю себя на нечаянной мысли:

— Что значит, собственно, «замечательный человек»? Имя которого общеизвестно? Который попал в энциклопедический словарь? Совершил подвиги? Полвершком перерос современников? Оскандалился на весь мир? Позабавил два поколения?

В семидесятые годы и в русской деревне слыхали про «гарибалку», в наши дни славилась «атаман Маруся». Вспыхивают имена и сейчас — может быть, скоро забудутся, а то — войдут прочно в историю.

Это дает право вспоминать о замечательных людях, имен которых не слыхали нигде, кроме того провинциального городка, в котором протекло мое детство, да и там их за сорок лет забыли начисто. Иных из них знал весь город, других только наша улица.

У нас, например, было в городе сразу два барона, — это на уральских-то отрогах! Один был председателем, другой членом окружного суда. Один барон, по фамилии Зальца (ударение на конце), был тем замечателен, что курил великолепные сигары — единственный в городе. По знакомству, сигарные ящики доставались мне, и я выпиливал из них рамки, полочки, коробки, ножи для разрезывания бумаги, туфельки для карманных часов и еще разные полезные и изящные вещи. Из-под лобзика ароматная пыльца летела в нос, и случалось, что я пропиливал палец; мать обкладывала мне порез паутиной и перевязывала, как куколку. Барон Зальца был огромен, лыс и очень шумен — человек совсем особой породы. Он любил играть в херсонский вист, оглушал и закуривал всю квартиру и предсказывал мне блестящую адвокатскую деятельность, которая осуществилась, но современниками не оценена. Садясь в извозчичьи санки, барон их раздавливал, и не один я считал его самым видным и замечательным человеком в городе. Потом его перевели председателем палаты в Казань — вот и все. В городе сразу опустело.

Другой барон, по фамилии Медем, имел рыжие бакенбарды, каких в наших краях ни у кого не было. Был высок и худ, многодетен, тих и порядочен. И опять-таки — больше ничего. Но он был барон, и это делало его человеком исключительным, хотя и уступавшим по значению главному барону — Зальца.

Кроме двух баронов, еще была Марья Павловна Керен, с фамилией немецкой, но женщина руссейшая, игравшая в городе роль толстовской Марьи Дмитриевны Ахросимовой[1]. Подобно ей, она «держалась прямо, говорила так же прямо, громко и решительно всем свое мнение и всем своим существом как бы упрекала других людей за всякие слабости, страсти и увлечения, которых возможности она не признавала». Она была богата, но жила одиноко: с кухаркой Анфисой и ее мужем, кучером. Была природной помещицей в нашей непоместной губернии, имела кусок леса, поле и большую избу — дачу, где и проводила лето. Не было скандала и события, в которые бы не вмешалась Марья Павловна и за которые бы не намылила головы виновным, — и все ее слушались. Больше всех она любила мою мать, женщину кроткую, которую журить было не за что, — и все-таки она постоянно журила. Мне же она приходилась крестной матерью, дарила на именины три рубля и однажды прямо сказала, что в ее духовном завещании помянуто и мое имя. Я понял так, что достанется мне после ее смерти рублей сто; суммы выше еще не было тогда в моем детском представлении. Но, не будучи корыстным, не размышлял над возможным сроком моего обогащения. Случилось, что к старости Марья Павловна, сохраняя власть и влияние в городе, подпала в собственном своем доме под свирепую и самодержавную опеку Анфисы и кучера, без которых не могла обходиться. Им она еще при жизни отказала свои дома, а по ее смерти не нашли ни денег, ни завещания. Родственников у нее не было, и ее очень скромно похоронили. Будто бы тут была какая-то уголовщина, но очень ловко прикрытая, я же своих ста рублей так и не получил. Имя ее осталось неизвестно историкам, наш же город потерял еще одного, поистине замечательного человека, и все это ясно ощутили.

Или, например, извозчик Корнила. Ручаюсь, что его знал весь город! Он был первым и лучшим извозчиком, и не из тех, которых можно нанять на углу или поманить рукой. Он подавал только самым выдающимся людям, и тот, кого он вез, делался предметом общего внимания и уважения, если не пользовался ими раньше. Ему приходилось возить даже губернатора и всегда — приезжих уральских богачей. У него была синяя суконная полость, отороченная мехом, и настоящий кучерский наряд, как у московских лихачей. Лицо его было красно от вечного пьянства, в брюхе его лошади громко хлюпала печенка; по крайней мере, он так объяснял — и этим гордился. Когда он гнал по Сибирской улице, — городовые останавливали движение возов с дровами и сеном, так как знали, что едет кто-нибудь влиятельный. В дни Пасхи и Нового года на Корниле делал визиты самый модный человек, и на этом можно было создать карьеру. Заполучить его было нелегко — приходилось сговориться с ним загодя, перегнав других, менее предусмотрительных. В нашем городе мало кто мог слыхать о Корнеле[2], но имя Корнилы знал каждый грамотный и даже неграмотный.

К дням моего студенчества Корнила был уже в упадке, как и его лошадь с печенкой, как и его полость и весь его наряд. Появились извозчики более блестящие, но не известные по имени. Знатные иностранцы предпочитали пользоваться ими, но мы, местные жители, все же отдавали преимущество ему. И когда приезжал домой на праздники, а в Новый год ехал делать визиты в сюртуке и при шпаге, я обеспечивал себе Корнилу на весь день — и прямо скажу без излишней скромности, что не только гимназистки, но и молодые дамы разговаривали со мной иначе, чем с другими, а один городовик по ошибке отдал мне честь.

Из числа замечательных людей помню еще Симановича, владельца музыкального магазина на главной улице. Он был тем замечателен, что никогда не сидел в магазине, а всегда находился у его порога, и летом, и зимой. И никогда не был в покое, а всегда в движении. Движение состояло в том, что он пожимал руки проходящим, — знал же его, конечно, весь город. Пожимая руку, он дарил улыбкой и словом каждого, причем руку закруглял и еще шаркал ножкой. И как бы ни была кратка сказанная им фраза, она содержала что-нибудь музыкальное: будете ли в концерте? слыхали ли о новой опере? любите ли цыганские романсы? учитесь ли играть на рояле? Иной человек только и знал по музыкальной части, что «Под вечер осени ненастной», а что-нибудь отвечать Симановичу приходилось, ну хоть «благодарю вас!». А кончилось тем, что наш город прославился как самый музыкальный на всей Каме, и даже городское управление пригласило на свой счет оперную труппу на весь зимний сезон. Я считаю — да и все считали, — что именно Симанович развил в нас страсть к музыке улыбками и рукопожатьем, избежать которых, проходя по его стороне улицы, было невозможно; на другую сторону улицы он только кивал и махал ручкой.

Я упоминаю только о людях вечных, старожилах; что толку, если появится в городе заезжий человек, блеснет и исчезнет; таких бывало много, особенно летом, при пароходном движении. Высадится, пройдет по Сибирской улице, возбудит внимание, — а потом окажется, что это был знаменитый казанский фельетонист Зоил, или адвокат из Екатеринбурга, бывавший и за границей, или даже сам путешественник Миклуха-Маклай! Ну, — поговорим, поволнуемся и успокоимся. Но ради таких случайных выскочек мы не изменяли своим великим людям, которых было все-таки немало. Так, был у нас свой фельетонист, по фамилии Кричевский, по псевдониму Кри-Кри. Как он писал! Сколько яду он вкладывал в свои короткие строчки в неофициальном отделе «Губернских ведомостей»! Начальства, правда, не трогал, но отцы города только зубами бессильно скрипели. Ни одна лужа на главной улице, ни одна у забора скончавшаяся кошка не ускользали от его внимания и обличения, — а ведь сколько было луж и покойных кошек!

Писателей своих у нас, правда, не было. Писатели родятся преимущественно в Московской и Саратовской губерниях, реже в Орловской, иногда в городе Лебедяни (Замятин, Ляшко[3]). Но был поэт из кантонистов, учитель чистописания Михал Афанасьевич, ходивший зимой в дамской кацавейке мехом наружу. Иногда я читаю произведения нынешних поэтов (когда присылают) и думаю, что по части размера, ритма и рифмы Михал Афанасьевич был все-таки посвободнее, посмелее. Писать под Тютчева — не велика мудрость, только ставь неправильные ударения; Михал же Афанасьевич писал ни под кого — под самого себя! Две строчки ровные, а третья как разбежится — раз в десять длиннее, и ничего невозможно понять, как и сейчас. Он писал так не по неумению, а по убеждению и вдохновению, разумно отрицая каноны казенной поэтики. Так что это не сейчас придумано — было и раньше. Он начал писать стихи десяти лет, кончил девяносто двух, в день смерти. Я не шучу — его знали за пределами нашей губернии, и в день одного из его юбилеев был выпущен сборник приветственных писем и статей его учеников, то есть не поэтов, а обученных им чистописанию. Его произведения не печатались, а ходили в списках и заучивались наизусть, а его рукописи съели мыши и сожгла неразумная квартирная хозяйка, уже после его смерти.

Захотев и располагая местом, я бы мог назвать еще многих замечательных людей, которых знал лично и о которых и не было и не осталось памяти ни у кого, кроме моих земляков. Но я опасаюсь несерьезного отношения читателей, больше всего — предубеждения, что замечательные люди должны быть общеизвестны и отмечены историей и словарями. А так ли? Никому неизвестного нашего поэта Михал Афанасьевича, по фамилии Афанасьев, ни Брокгауз, ни Ефрон, ни Гранат, ни даже популярный Павленков не отметили, ни даже словарь русских писателей Венгерова, в котором названо пятьдесят других писателей Афанасьевых, а нашего так-таки и нет!

В словаре Даля приводится такое объяснение:

«Слава — как кто-либо слывет, прослыл

в людях; молва, общее мнение о ком, о чем-либо, известность по качеству».

Итак — известность по качеству человека, а не по количеству его знающих. Запомним это твердо! И уж что касается до качества людей, о которых я здесь писал, то будьте покойны!

МАРИОНЕТКИ

Склады памяти мне представляются реквизитом театра марионеток. Люди — куклы; судьба дергает их за ниточки и заставляет разыгрывать события; фон воспоминаний — декорации, которые можно сложить и свалить в угол до востребования. И это не обидно: так удобнее хранить материал, не очень его истрепывая. В подходящий момент входишь в кладовую, вытаскиваешь на свет фигурку, отряхаешь пыль, расправляешь складки одежды, — и так приятно видеть старого знакомого.

Тому назад лет двадцать с небольшим я бывал в мастерской игрушек у «доброго судьи Майетти», в Риме. Судья Майетти был не только действительно добрый человек, а и великий энтузиаст добра. У него была своя теория и своя практика правосудия по делам детской преступности. Он всем сердцем любил независимых бродяжек и маленьких жуликов, которых приводили в его детский приют. Он исправлял их (действительно исправлял!) неограниченным доверием, предоставлением им свободы оставаться или бежать, но от остававшихся требовал усердной работы, занятий с учителями-добровольцами и опрятности. Он ввел в своем приюте детское самоуправление, которое, таким образом, было изобретено отнюдь не советской школой. Приют содержал на свои личные и выпрошенные у знакомых деньги. Преследовал курение и жесткое обращение с животными, пропагандировал сберегательные книжки и поручал малолетним карманникам, особенно «неисправимым», относить в сберегательную кассу недельные заработки своих пансионеров, — без всякого сопровождения и надзора. Он так поражал их доверием, что не было случая растраты или побега. В приюте у него была теснота, стулья днем подвешивались на гвоздики, чтобы освободить проходы между койками, весь инвентарь помещался на многоэтажных хитроумных полках. Ни днем, ни ночью дверь не запиралась, приходи и уходи по доброй воле.

Так как решительнейшим средством исправления малолетних добрый судья считал труд, притом непременно занимательный и полезный, то он устроил и в своем приюте, и в тюрьме мастерские игрушек, преимущественно музейных кукол и марионеток. Я бывал довольно часто в обеих мастерских и поставлял судье жестяные коробки из-под табаку, — ценнейший материал — и обрезки материи, которые собирал по знакомым.

В те дни другой итальянский энтузиаст, синьор Витторио Подрекка[1], молодой чернобородый адвокат, вынашивал идею своего ныне знаменитого и, кажется, лучшего в Европе театра марионеток и Петрушки («Театро деи пикколи»). Было естественно, что Майетти и Подрекка стали добрыми друзьями и соратниками: их объединила любовь к детям и куклам. Впоследствии они оба стали знаменитыми, привлекли внимание богатых англичан и короля Италии, приют Майетти вырос и облагообразился, театрик Подрекки стал модным в Риме, сам он обрил черную бороду, а Майетти стал председателем суда над малолетними. Вообще стало неинтересно и довольно шаблонно. Я очень рад, что знал их обоих до всеобщего их признания, когда Майетти пропагандировал свою идею свободного трудового воспитания, выпуская летучие листочки, которых никто не читал, а Подрекка, с подобной же целью, издавал журнальчик «Примавэра», в котором я печатал детские сказки. Оба дела были скромными и семейными, — для души и на личные чентезимы.

Я потому вспомнил сейчас этих славных людей, что мы не раз, то в мастерской Майетти, то в только что открытом театрике Подрекки, любовались марионетками и «бурратини» (Петрушка) работы детей, под наблюдением судьи и по заказу режиссера. Сколько восторгов вызывал бархатный костюм, сфабрикованный из дамской юбки, или длинный нос Петрушки, скомпонованный малолетним талантом. Кукла болтается в руках, — но мы знаем, что она оживет, когда в искусных пальцах заработают ниточки. Она не только будет шагать и прыгать, но и разевать рот, исполняя свою роль в классической опере. Она вихрем пронесется по сцене в балете, — и такого курбета не сделает ни одна балерина и ни один фокусник. Ну, а пока она, конечно, кажется безжизненной, усталой, лишенной воли и вкуса к действию. Полюбовавшись, мы подвешиваем ее на соответствующий гвоздик и переходим к другой.

Как забавен кукольный мир! Как чист и беззлобен! Великий скандалист, сам Петрушка, в сущности, добрейший и милый парень, как и жандарм, который, получив по голове достаточное число ударов дубинкой, в конце концов все-таки утаскивает Петрушку в узилище. Затем они мирно висят на гвоздиках, рядом с королевой, герцогом и шутом, равноправные и равно безвредные дети судьи, режиссера и малолетних преступников.

* * *

Так начав, я не решусь, конечно, продолжать беседу о встречах с людьми известными, попавшими или имеющими попасть в энциклопедические словари. С ними нельзя распорядиться, как с куклами, — хлопать их по плечу и щелкать в лоб. Поэтому на сегодня я предпочитаю вспомнить нескольких неизвестнейших, которых имен и сам не помню, — разве что выдумаю.

Одной из любимых театральных кукол в «Театре малышей» была свирепого вида дама с ридикюлем, участница многих комических сценок. Ее горделивый вид всегда напоминал мне некую жену провинциального нотариуса, которую я знал в детстве. Она была бедна, полна достоинства и приходила к моей матери шить кофточки и подрубать носовые платки. Мать относилась к ней с уважением, не как к портнихе, а как к знакомой, и усаживала ее пить чай с нами в столовой. Ее знал весь город, делившийся на партии: одна партия была на стороне нотариуса, другая на стороне его жены. Нотариус с женой не жил, и, по тем временам, это было огромным скандалом, в котором я никак не мог разобраться. Несомненно, однако, что это было началом женской эмансипации. Жена нотариуса жила самостоятельно, шила по домам и выпивала, а выпив, — позорила бывшего мужа последними словами на всех перекрестках.

И вот однажды мне удалось быть свидетелем их встречи на улице. Я шел из гимназии и тащил по снегу за ремень презираемый ранец с книгами. И вдруг — неожиданная сцена: нотариус столкнулся на перекрестке со своей супругой. Он в хорошей шубе, она в паршивенькой кацавейке, обвязанная шарфами, не совсем трезвая. Столкнувшись, оба приостановились, и нотариус, вежливо приподняв шапку, громко спросил:

— Ты все еще не издохла?

И вдруг ее фигура выросла, выпрямилась, и из комка шарфов раздался гордый, ясный и отчетливый голос:

— Не хо-чу и не ум-ру!

Затем они уступили друг другу дорогу и разошлись. Я же, по малолетству, был совершенно поражен этими новыми для меня и чрезвычайно своеобразными человеческими отношениями. Должен сказать, что все мои симпатии были на стороне независимой женщины.

Что касается до жандарма, с которым так неистово бился Петрушка, то я никогда не мог забыть об его сходстве с солидным седоусым жандармским генералом, отчаянным бабником, которого я знал в те же юношеские годы. Вероятно, потому, что видел однажды этого генерала на сцене в нашем оперном театре. Генерал пробирался за кулисы ухаживать за балеринами и был там своим человеком. Как-то он не рассчитал момента и, запутавшись в декорациях, при поднятом занавесе, проследовал через сцену, звеня шпорами, в то время, как наш отличный актер, вымазавшись коричневой краской, уверял публику, что он — Амонасра, эфиопский царь. В театре хохотали совершенно так же, как дети на представлении Петрушки.

И была еще в реквизите театра Подрекки кукла, одна из самых забавных, которую я считал за моего ожившего знакомца, провинциального певца-любителя, хотя по профессии часовщика. У куклы была совершенно такая же челюсть, страшно разевавшаяся на предмет издания звуков. Это был человек неприлично маленького роста, с неприлично огромным голосом, выкованным из ржавого железа и напоминавшим грохочущую телегу. Когда в любительских концертах он пел «Чуют правду» или «Любви все возрасты покорны» (обе арии он исполнял одинаково), то весь зал замирал от ужаса и нервного состояния. Он открывал рот, — и происходило невероятное: его рот растягивался во всю его фигуру, от взбитого курчавого кока волос, — до незаглаженных брючных коленок и даже несколько ниже. Из этой пасти вырывался шум столичной улицы, лязг завода земледельческих орудий и треск столкнувшихся на полном ходу поездов. Это было особенно замечательно в арии Гремина, в словах: «тоскливо жизнь моя текла, она явилась и зажгла» и так далее; дело идет, конечно, о Татьяне. Ему неистово аплодировали, потому что подобного голоса не было на протяжении от Урала до истоков Волги. Если бы он не был евреем, то был бы, конечно, протодьяконом и возглашением многолетия приводил в ветхость стены соборов.

Вся прелесть марионеток в том, что они не обязаны считаться с пропорциями роста и частей тела, что они оживляют уродцев из кунсткамеры и банок со спиртом. Они чудесно подчеркивают различия людей и черты их характеров. Царь — так уж царь, с большим животом и трехэтажной зубчатой короной, шут — так уж прыгает до потолка, герой — так грудь колесом и неистово разящий меч, а прелестница — лучше не сыскать: вся в шелках и деревянными ручками посылает поцелуи. У прелестницы есть соперница, вдвое выше ее ростом, худая, как щепка, с челюстью навыкате. И вот такую я тоже знал в жизни.

Она была учительницей прогимназии. Вряд ли была на свете бóльшая страдалица. Гимназисты называли ее цаплей, — но куда цапле до нее! Жирафы же в нашей местности не водились. Вероятно, отличная женщина, — но она достигала прической и шляпой невысоких балконов, а так как она этого стеснялась, то как-то невольно пригибала голову, что делало ее похожей также и на вязальный крючок. Она была отличной преподавательницей, и на кафедре не была смешной. И все-таки учебный округ был вынужден ее уволить за неизмеримость роста, чтобы не портить детей и не приучать их к непочтению. Однажды прошел слух, что она выходит замуж, — кто-нибудь нарочно пустил в насмешку. Стали гадать — за кого? Но не было никого, кто бы мог поцеловать ее, не приставляя лестницы. Грешно смеяться, — но я всегда вспоминал ее, смотря в театрике на соперницу прелестницы.

А несгибающийся любовник в золотом пиджаке и тонконогий! Ведь это же Митрофанчик, наш почтовый чиновник, великий дамский угодник! Все его звали Митрофанчиком, хотя ему было под пятьдесят. Утром — письма и марки, а вечером — салоны прокурорши и пароходчицы Манефы Трифоновны. И тут он читает стихи. Сам он не сгибался, но голос его переливался всеми тонами. Он любил читать «Украшают тебя добродетели» и «Убогая и нарядная». И, читая, он пускал прозрачную слезу из белых глаз, потому что у него зрачок был светлее белка. Он всем надоел, — но без него не было салона ни у прокурорши, ни у пароходчицы; то, да не то! И только после революции оказалось, что он был маленьким охранным осведомителем на мизерном окладе. Содержал его тот самый жандармский генерал, который участвовал в сцене с царем Амонасрой. Вот тебе и Митрофанчик!

* * *

Таковы незамечательные люди, которых напоминали мне римские марионетки. Конечно, я несколько хитрю: говорю только об этих, а в памяти держу многих других, о которых просто стесняюсь упоминать, потому что, по мягкости характера, обижать никого не хочу.

Когда Подрекка привозил в Париж свой театр, мы немного вспоминали прошлое, — но для этого нет времени у деловых людей. Судьи Майетти я давно не встречал; вероятно, его приют стал национальным учреждением, а прежние бродяжки носят френчи с черным галстуком; а впрочем, теория свободного воспитания так мало согласуется с нынешним призывом к созиданию кадров здравомыслящей и кулакоспособной молодежи, все на одну мерку, все одной команды, — не случайные куколки, а люди будущего. Так уж нужно, — ничего не поделаешь и не возразишь.

ПЬЯНОБОРСКИЕ РАКИ

Было воскресенье — день нерабочий. Но, по привычке вставать рано, Николай Тихонович к девяти часам уже дочитывал газету. Из России сообщалось о самоубийстве селькора и аресте троих инженеров-вредителей с незнакомыми фамилиями. Бриан с вечерним поездом уехал на сессию Лиги Наций. Умер двенадцатый из участников экспедиции в гробницу Тутанхамона. В Париже рассыльный нашел бумажник с тремя тысячами фунтов и возвратил собственнику, который дал ему пятьдесят франков. Баритон Гореславский, после блестящего турне по лимитрофам[1], даст только один концерт в Париже. Вышли марки нового образца. Советский юмор, шахматы, крестословица.

Для человека одинокого, пожилого, привыкшего работать, праздничный отдых всегда несколько утомителен: нужно затратить его на необычное, и это необычное нужно придумать. Русский зубной врач Шкляр — быстрое и совершенное залечение всяких зубов. Ресторан «Горница» — специальность пельмени. Не платя, вы делаетесь собственником участка земли в прекрасной местности. Получена партия настоящих консерв. пьяноборских раков. Олюся, вернись, прости мимолетное увлечение. Прихожу натирать полы, можно по телефону. Вложу десять тысяч под верное дело.

Николай Тихонович хотел уже отложить газету, но слово «пьяноборских» вдруг всплыло в сознании. Неужели действительно — пьяноборских? Он отыскал объявление и снова прочитал внимательно: «Получена партия настоящих консерв. Пьяноборских Раков довоен. качества по искл. цене, мал. кор. 12, больш. кор. 20, оптов. знач. уступка».

Зачем в Париже пьяноборские раки? Что значит — довоенного качества? Какой смешной прием заманивания покупателя! И зачем-то по краям напечатано по-французски:

«Ecrevisses du Pianobore Russe».

Рядом пять. объявлений единственных русских аптек.

Пьяный Бор — пристань на Каме, неподалеку от впадения Белой. Те, кто едут от Перми или от Нижнего в Уфу, должны здесь пересаживаться на бельский пароход. В Пьяном Бору крутой берег, очень высокий и обрывистый, а наверху, у самого края, начинается и уходит в бесконечность старый и густой хвойный лес. Так было когда-то — но, может быть, осталось и посейчас.

С крутого берега видна стальная вода Камы, а на ней плоты, беляны, лодки, пароходы. Каждый пароход, уходя, прощается с берегом одним длинным и многими отрывистыми гудящими свистками; это капитан нажимает рычаг или просто тянет за проволоку, а сам смотрит, как пристань убегает и делается лодочкой, и люди на ней — совсем маленькими. Затем капитан, дойдя до середины реки, буркает в рупор машинного отделения: «Вперед до полного», — и там отвечают: «Есть, вперед до полного». А пассажиры, наглядевшись на красоту крутого берега, уходят с палубы и заказывают порцию раков.

К окну подлетели воробушки, которых Николай Тихонович ежедневно кормил крошками и так приучил, что они прилетали даже летом, когда корму и без того достаточно. Садясь на перила балкончика, каждый воробушек повертывал голову набок и смотрел, не слишком доверяя, на Николая Тихоновича, как на существо хотя и неразумное, но полезное.

И вот тут, бросая воробьям последнюю крошку, Николай Тихонович внезапно ощутил, что Пьяный Бор, самое это имя давно и хорошо знакомого ему прикамского местечка, — необыкновенно, исключительно звучно и красиво: Пьяный Бор! Густой, смолистый, шумливый вековой бор, опьяневший от радости, что он растет в России над чудесной рекой, что над ним небо, что есть ему чем дышать, что с его опушки видна привольная даль, а сам он полон и птиц, и зверушек, разной насекомой твари, а может быть, и чертенят, лешаков и прочей забавной нечисти.

Придумать такое имя: Пьяный Бор! На ветру верхушки пихт и елей шатаются, как пьяные, и воздух пьян, и ручьи, и белки, и папоротник, и мелколистая заячья капуста — все пьяно.

Последний воробушек, тот, у которого ножка сломана и подогнута, унес последнюю корочку на соседний балкон и там долбил ее клювом. Николай Тихонович оставил окно открытым, тем более, что решил пойти погулять. Надевая пальто, взглянул на себя в зеркало и сделал лицо серьезным и неприветливым, как на людях. Он брил бороду, носил короткие усы, в которых перец был перемешан с солью. Старым Николай Тихонович не был; стар тот, кто слаб, болен и не может работать. Но Николай Тихонович во всяком случае не был молод; а раз человек не молод, то не все ли равно, каков его возраст.

* * *

Не покладая рук, русский зубной врач Шкляр залечивал всевозможные зубы. Бормашина с ножным приводом мерно повизгивала, и в нёбо покрякивавшего пациента летели костяные брызги. Время от времени врач останавливал машину, смотрел через толстые чечевицы очков на кончик своего орудия и отрывисто приказывал:

— Сполощитесь! Что? Вам не болит зуб? А, это немножко всегда.

Вчера вечером зубной врач Шкляр играл в бридж с комиссионером по продаже земельных участков близ станции Эпиней (не платя, делаетесь собственником в прекрасной местности). Как его фамилия? Сверля дырочку для второй пломбы, зубной врач Шкляр старался вспомнить фамилию — но никак не мог. Имя — Глеб Яковлевич, а фамилия? Играли по полсантима, и этот Глеб Яковлевич назначил четвертую пику (невозможная глупость!), и, конечно, они при контре сели без трех. При таком партнере мудрено не проиграть. Просверлив и очистив вторую дырочку, зубной врач Шкляр стал отыскивать во рту пациента еще какую-нибудь починку и, конечно, к своему удовольствию, нашел. Он постучал по зубу, поскреб и сказал:

— Еще одна маленькая будущая дырочка, и я вам советую ее запломбировать. Что? Как хотите, после было бы хуже.

Пациент, затылок которого лежал на салфетке, согласился, и тогда Шкляр голосом команды приказал:

— Сполощитесь!

Состоялся концерт баритона Аркадия Гореславского, совершившего блестящее турне по лимитрофам. В отзыве русской лимитрофной газеты, вырезанном и вклеенном в альбом, было прямо сказано: «Музыкальный дар Аркадия Гореславского, его огромный диапазон и редкая тональность являются одной из наших русских гордостей. Пожелаем»... и пр.

Как и всюду, публики на концерте было мало, хотя Гореславский отпечатал и разослал целую пачку зеленых скидочных билетов. Пел Гореславский с большим подъемом, скрестив пальцы и сжав двойной кулак повыше жилета фрачной пары. Пел по-русски и по-итальянски, произнося «ди» и «ти» на русский манер, но стараясь делать «о» открытым. Знакомая его жены, сидя в первом ряду, неистово аплодировала, и Гореславский глубоким поклоном, но не теряя достоинства, благодарил за это ярко освещенные стулья.

После концерта ужинали в русском ресторане «Горница», где восемь бывших офицеров в плисовых штанах и голубых косоворотках с позументами играли на балалайках Шопена и «Ах, полным-полна коробушка». Знакомая жены Гореславского ела специальность ресторана — пельмени, а сам Гореславский, его жена и сотрудник театрального отдела ели московскую селянку, от которой попахивало пареным бельем и двууглекислой содой. После третьей рюмки жена сказала баритону Гореславскому:

— Будет, тебе вредно для голоса.

Сотрудник театрального отдела сказал: «да-а-а-с» и, криво держа вилку, взял с тарелки последний кусочек селедки, осиротевшая голова которой, выпучив белый глаз, посмотрела на сотрудника с нескрываемым презрением.

Аркадия Гореславского стеснял фрак; поддевая вилкой темно-бурую капусту селянки, он боялся капнуть на пластрон рубашки, который выпячивался горбом. Но, к счастью, не капнул.

В седьмом часу вечера Олюся вернулась домой от приятельницы, у которой прожила в Отей почти три дня в некоторой полной уверенности, что уже никогда не вернется в Пасси на свою квартиру. Она бы, конечно, и не вернулась, если бы Павлик не напечатал в газете объявления, публично сознавшись в минутном увлечении. Прочтя это объявление («Олюся, вернись» и пр.), Олюся вспыхнула трепетной радостью, но не потому, что она поверила Павлику, а потому, что это, во-первых, могло благополучно разрешить весьма трудный жизненный вопрос, а во-вторых, придавало всему происшествию необыкновенный эффект. Объявление прочитают тысячи людей, и каждый прочитавший подумает: «Что случилось? Какая-такая Олюся? Вероятно — решительная женщина!»

Когда подруга показала ей объявление, Олюся все-таки нашла в себе достаточно силы отбросить номер газеты, в котором, между прочим, сообщалось, что Бриан с вечерним поездом выехал на сессию Лиги Наций. Но этого Олюся не прочитала, да и вообще это никого интересовать не могло. Сегодня в газете ярко и ослепительно пылали только три строчки на последней странице.

Подруга сказала:

— Олюся, ты должна его простить.

— Никогда!

— Но это смешно, Олюся. Ты видишь, он признает свою ошибку. Нельзя казнить человека за минутное увлечение.

— Минутное увлечение? Хорошенькая минута, которая тянулась почти полгода. Ведь я теперь все знаю.

— Не в том дело, Олюся! Важно, что он признал и что он жестоко наказан. Если ты не вернешься, он может застрелиться.

— Кто? Павлик? Он на это неспособен. Да у него и револьвера нет.

— Ты жестока, Олюся!

Но дело в том, что три дня — ничего, а дольше жить у подруги все-таки невозможно. Уходя из дому после страшной сцены, Олюся захватила только карт-д-идентитэ, мокрый от слез платок и губной карандашик. За автомобиль заплатила подруга. А как же жить дальше? Притом Олюся очень любила Павлика, и жили они вместе всего два года.

К вечеру Олюся смягчилась и в половине седьмого (чтобы, в случае примирения, успеть приготовить обед) вернулась домой.

Отворив ей дверь (ключей Олюся, навсегда уходя из дому, не взяла), Павлик как стоял — так и упал перед ней на колени, спешно поддернув средним и указательным пальцем складку новых панталон.

Комиссионер по продаже земельных участков Глеб Яковлевич плохо играл в бридж, но дело свое вел отлично. Раза два в неделю он привозил в автомобиле Общества (дорога для клиентов бесплатно и безо всякого обязательства) смущенных и не совсем доверчивых людей, обыкновенно — супругов, соблазненных рекламой. Каждому человеку приятно иметь собственный земельный участок с домиком, садом и огородом, за который нужно немного внести, а остальное выплатится незаметно. Огромный кусок земли разбит на участки, и каждый участок окружен проволочной оградой. Деревьев нет потому, что каждый насажает по своему вкусу, кто дубовую рощу, а кто фруктовый сад. Водопровод будет, канализация тоже будет, и очень скоро, а затем проведут освещение. Ожидается безумный, сказочный рост местечка, потому что сообщение с Парижем превосходное. Далеко до станции? Но ведь это не город, тут приятно пройтись; но, конечно, будут автобусы. Главное — нужно купить скорее, потому что с осени цены подымутся в несколько раз. И всегда можно перепродать — с колоссальной выгодой. Лучше всего купить и соединить два участка. Выбор огромнейший!

Как нет реки, мадам? Есть река Орж, небольшая, но очень красивая. Лес? Что такое лес — от леса только сырость, и вы разведете прекрасный сад. Солнца здесь множество, и оно светит целый день; это считается самая солнечная местность во Франции. Ни одного комара ник-к-когда. Я сам имею здесь один тройной участок и очень доволен. Нет, еще не живу, но буду жить.

Вернувшись в Париж, супруги Пехотуровы (де-Пиекотурофф) едва не поссорились, обсуждая достоинства и недостатки участка. Она говорила:

— Если тебе нужен непременно лес — поезжай в Россию.

— Ну и глупо.

— Помещичьи привычки! Здесь тебе не Звенигородский уезд.

— Да ты пойми, что это просто осушенное болото.

— И однако все там купили и довольны. А мы третий год собираемся. Пока деньги целы — нечего раздумывать. А главное — можно после перепродать и купить что-нибудь получше, может быть, даже на юге.

Когда господин Пехотуров подписывал контракт, Глеб Яковлевич знал, что это жена победила мужа. Жены всегда побеждают мужей в делах практических; если бы не было так, зачем бы тогда заводить жен.

В этот день, играя в бридж с зубным врачом Шкляром, комиссионер по продаже земельных участков объявил масть, при двух онёрах, ничего не имея сбоку. Но врач, наученный опытом прошлого, партнера не поддержал — и хорошо сделал.

Мальчик об одну подтяжку и другой мальчик в синем балахоне, из которого сзади торчал хвостик рубашки, торжественно, хотя и суетливо, опускали с мостка сетку на веревке, а в сетке лежало тухлое мясо. В узком ведерке пять маленьких раков переползали друг через друга, не понимая, куда они попали. Во всех деревушках по линии Орлеанской дороги, где много тинистых прудов, мальчики вылавливали пьяноборских раков довоенного качества, выполняя полученный заказ. Дело несложное, занятное и прибыльное.

На высоком берегу Камы пьяными ветвями шумел бор. А с опушки, близ которой начинался желтый, песочно-глинистый обрыв, был виден стальной простор реки и квадраты засеянных полей.

Один рак в ведерке перевернулся на спину и, поняв свое смешное положение, захлопал шейкой по мелкой воде. Удивительнее всего был в ведерке на первый взгляд беспорядочный переплет ног, клешней и длинных усов; но раки как-то в этом разбирались и знали, которые ноги их, а которые чужие.

Укупорка в жестяные банки происходила в небольшой комнате, где было жарко от раскаленного паяльника. Господин в котелке и хорошо вычищенных ботинках не без интереса наблюдал за работой, одновременно беседуя с владельцем маленького предприятия.

— Да, я мог бы вложить свои десять тысяч и даже больше, но я должен ознакомиться с вашими книгами. Имеете ли вы книги в порядке?

Владелец отвечал:

— Ну, разумеется, о чем говорить. И вы убедитесь в том, что это дело может развиться в очень большое.

— Но почему раки, и что такое пьяноборские?

— Это, кажется, станция на реке, но я хорошо не знаю, так как я сам из Харькова.

— Ах, вы из Харькова? И вы знали там меховой магазин «Иосиф Сливняк»? Очень большой магазин.

— Я хорошо знал Сливняка присяжного поверенного, но это в Ростове.

— Все равно, это его кузен. Я знал лично всю семью. А сколько вам стоят эти баночки и где вы их покупаете?

В общем, дело было не напрасным, но и не очень выгодным, потому что рассчитывать в Париже можно только на русских, французы же в пьяноборских раках ничего не понимают.

К пристани под Пьяным Бором подошел снизу пароход. Бросили мостки, и по ним поползла толпа крестьян с мешками, косами и топорами. Последним сошел татарин, у которого была привязана к мешку медная посудина, похожая на высокий кофейник. Капитан вынул свисток, посмотрел на высокий берег и отрывисто свистнул. Заработала машина. Затем капитан, опытным глазом измерив угол между пароходом и пристанью, свистнул дважды.

Кормовая чалка шлепнула по воде тяжелой петлей.

Пароходный повар, засолив воду в котле крупной солью, удивительно ловко швырял в кипяток крупных живых раков. Он брал их за спинку по двое зараз, и каждый рак старался утянуть в клешне пучок крапивы, которой они были переложены в корзине. Набросав на три заказанные порции, повар помешал раков деревянной длинной ложкой, вышел на минуту покурить на воздух, плюнул в волны Камы, а когда он вернулся в кухню — раки были уже красными.

Отрывая шейку за шейкой, один пассажир говорил другому:

— А я не видал, чтоб в Пьяном Бору кухня запасалась раками. Может, мы их давно везем с собой, от самой Казани, а то и от Чебоксар.

— Может, и везем. А хороши!

— Хороши, а прежде были лучше.

— Прежде... Прежде многое лучше было.

Сказал и покосился на соседний столик.

* * *

Николай Тихонович, чтобы разумно закончить праздничный день, — завтра опять вставать в шесть утра, — забрел послушать доклад проф. Ксисинского на тему «Европа и Азия». Но ни о Европе, ни об Азии профессор Ксисинский ничего поучительного не сказал, а только сделал в своей речи такой намек, что присутствующий младоросс Нащекин, двадцати лет от роду, закричал «долой». Младоросса успокоили, записав его в оппоненты, а Николай Тихонович ушел домой, не дождавшись прений.

Перед сном Николай Тихонович делал то же, что и по пробуждении: проглядывал газету; но так как по воскресеньям он прочитывал ее тщательно еще утром, то оставалась ему одна крестословица.

Самое длинное слово (номер первый горизонтально) он отгадал сразу. Написано: «твердости», но из четырнадцати букв. Николай Тихонович отгадал: «положительности». Тот же номер, но вертикально, означал имя знаменитого русского поэта. На «П», но не Пушкин. Оказалось — Полежаев. Дальше — нота «си» и египетское божество «Ра». Труднее всего было отгадать приток Миссисипи и среднеафриканскую народность. Так как крестословица была велика и сложна, то Николай Тихонович бросил ее и, перевернув газетную страницу, еще раз взглянул на объявление:

«Получена партия настоящих консерв. Пьяноборских Раков довоен. качества»...

Затем он медленно разделся, взбил плоскую подушку, откинул одеяло, лег и потушил свет.

Часами двумя позже легли в постель в Париже зубной врач Шкляр, комиссионер Глеб Яковлевич, младоросс Нащекин (он долго не мог заснуть), профессор Ксисинский, супруги Пехотуровы и разные другие люди.

Опустилась ночь и над Пьяным Бором, не звездная, мрачная. Небо заволоклось тяжелыми тучами, старый лес ворчливо гудел, ветер скатывал с обрыва песчинки и куски сухой глины. Внизу поскрипывала на канатах пристань с тусклым фонарем, который мигал при каждом порыве ветра. И вода в Каме была неласкова, черна, тревожна от беспорядочной волны.

Но дождя не было. Поодаль от пристани, на маленькой отмели, горел костер, и пламя его от ветра стлалось по земле. У костра сидели старик и мальчонок, закутанные в теплое тряпье, а рядом горкой была навалена крапива и прижата палками, чтобы ветер не разнес. И еще стояло два больших ведра.

Погревшись, старик с мальчиком уходили к обрывистому бережку и там долго возились. Потом подтаскивали к костру верши, вынимали раков, причем старик брал их руками за что хочешь, а мальчик все-таки побаивался. Раков клали в ведро и засыпали крапивой. И тогда эти раки, как и те, маленькие, под Парижем, начинали переползать друг через друга, умело разбираясь, какие ноги их, а какие чужие. Иной, впрочем, попадал клешней в клешню соседа — и крепко замыкал клешню на замок.

Все это могло присниться Николаю Тихоновичу, если бы заснул он, думая о прикамском местечке Пьяный Бор и о знаменитых его раках, таких же прославленных, как вяземские пряники, как курские соловьи и тульские самовары. Или как для французов севрский фарфор. У каждого свое. Но Николай Тихонович думать об этом устал, вставать нужно было рано, и он уснул спокойно, крепко и без сладких или тревожных сновидений.

ПИРОГ С АДАМОВОЙ ГОЛОВОЮ

14 сентября 1842 года пламя пожирало город Пермь на Каме. По молодости лет и изобилию лесов в округе город был деревянным и горел легко. Как загорелся — неизвестно, но, по господствовавшему мнению, его подожгли либо черти, либо поляки.

Скорее всего — черти, чему есть и косвенное доказательство.

Кикимора, при всех ее особых родовых качествах, должна быть отнесена к семье чертей. Кикимора — пожилая особа безобразной наружности, в лесах бегает нагишом или в лиственном упрощенном наряде, а в городах носит женское платье, вышедшее из моды, и чепчик.

Именно такую особу видела одна старушка в окне дома Чадина во время пожара. Кругом бушевало пламенное море: один дом горел свечкой, другой пылал костром, третий рушился в вулкане искр, четвертый только занимался. Кикимора сидела в чепчике у окна и спокойно помахивала шейным платочком, отгоняя пламя. Кругом все дома горели — дом Чадина остался невредимым, даже не закоптел от чужого пламени.

Этот прием — отмахивать пламя платком — прост, банален и давно известен; у человека ничего не получается, а черти пользуются им постоянно. Предположить, что кто-нибудь из людей жил в доме Чадина, нелепо, потому что не родился тот человек, который решился бы провести в этом доме хотя бы одну ночь: дом был заколдованным и чудовищным. В противоположность другим, он был каменным и крыт железом, но недостроен и неотделан, и никогда никто в нем не жил. Его хозяин, Елисей Леонтьевич Чадин, советник уголовной палаты, умер при страннейших обстоятельствах, о которых скажем ниже. Со дня его смерти начались в новом доме чудеса: раздавались крики, слышались стоны, с треском падали тяжелые предметы, так что весь дом сотрясался. Происходило это главным образом в полночь, и благоразумный прохожий предпочитал обойти квартал стороной, осеняя себя крестным знамением.

Такие дома встречались в разных городах, бывают и сейчас, и не только в нашей стране, где квартирный кризис и уничтожение опиума для народа свели количество таких домов к минимуму, но и в других странах. Наивные ученые люди подвергают кикимор сомнению, — но все-таки где-нибудь кикиморам жить приходится; неудивительно поэтому, что про такие дома писали и в Италии, и во Франции, то есть в странах совсем не сходного политического строя.

Пермский губернатор И. И. Огарев кикимору отрицал. Следовало бы ему попробовать поселиться в доме Чадина с супругой хоть на неделю и тем доказать торжество просвещения. Вместо этого он позвал старушку, видевшую кикимору собственными глазами, разнес ее за распространение нелепых слухов и пригрозил ей присягой. Старушка сказала, что на присягу готова, что врать ей не приходится, так как она уже доживает свой век, а что собственными глазами видела — то готова подтвердить: видела кикимору самую настоящую, и ошибки быть не может. И губернатор оказался в довольно глупом положении. Он было попробовал:

— Ты что же, баба неразумная, в кикимору веришь?

— Я, батюшка, твое превосходительство, Господа Бога видеть не удостоилась, да и то верю; а эту нечисть своими глазами зрела — как же мне в нее не верить! Да и все знают.

Логика неопровержимая — и старушку отпустили, однако с запретом впредь болтать.

* * *

Собственно, этим и заканчивается история. Мы же прибавим: было бы странным, если бы дом Чадина, уже давно не существующий (он снесен нежилым, а на его месте построена женская гимназия — угол Петропавловской и Театральной площади), — если бы этот дом не был заколдованным. Во всем виноват его хозяин и строитель, Елисей Леонтьевич.

Человек — кремень, жила, скуп до невероятности и с людьми жесток. Своих дворовых заставлял не только строить, но и выделывать кирпич. И, подражая великолепным римским папам, обратившим памятники Аппиевой дороги в строительный материал, — Чадин кощунственно грабил местное кладбище.

В лунную ночь выходила партия дрожавших от страха рабочих, под водительством более отчаянных, и направлялась на кладбище.

Там, по приказу хозяина, отрывали от могил и забирали с собой чугунные и каменные плиты и на руках переносили их в строящийся дом. На рассвете эти плиты вделывались в пол, стены и печи, надгробными надписями внутрь. Выходило дешево, прочно, и кикимора заранее радовалась таинственной отделке своего будущего жилья.

Отличного семьянина и уважаемого человека надгробная плита послужила подом русской печи.

Покойного диакона плита чугунная, с надписью церковной вязью, пошла на подпорку лестницы.

Младенца плиточка, матерью любовно заказанная и омоченная слезами, ничком легла у самого порога столовой комнаты — для вечного попирания ее нечестивыми ногами.

Грешное дело делали рабочие — и люто ненавидели хозяина, гнавшего из них седьмой пот. Донести на него боялись, так как сами были в большинстве безбумажные бродяги, беглые крестьяне дворянских губерний, люди, знакомые с острогами и с тайгой. Не ровен час — начнется следствие, и всем им пропадать. Грех замаливали по кабакам, пропивая чадинские грошики.

Но, при всей скупости, Чадин умел бывать и хлебосольным — для важных гостей. На рубеже Сибири люди умеют есть подолгу и жирно, пить большими глотками крепчайшее пойло в количестве, для жителя средней России непостижимом и убийственном. Леса под Пермью полны зверья и дичины, Кама обильна рыбой. Оленина, кабаний и медвежий окорок, утки, глухари, рябчики, белужина, стерлядь кольчиком, раки, грибы всех сортов и всех засолов — все это было местным и обычным, доступным человеку среднего достатка. Кто же хотел угостить на славу, тот после пельменей и сычуга — блюд излюбленных и обязательных — поражал пирогом с такой начинкой, чтобы не сразу угадывали, чем блеснул повар и чьи души на тот пирог загублены. Вино подавалось только для красоты, а пили водку стопочками и чарочками — по первой, по второй, по третьей, колом, соколом, легкой пташечкой, с грибком, с перцем и с кряканьем, до красноты носа и бледности лба, — а потом повторяли.

В день святого Елисея славился пирог чадинский, и не тонкостью вкуса, а жирностью и сверхъестественными размерами: приносили его четверо слуг и ставили перед хозяином на расчищенный стол. Первый кусок он вырезывал себе, а дальше слуги оделяли гостей: в первую голову председателя уголовной палаты Андрея Ивановича Орлова, за ним князя Долгорукова, сосланного в Пермь за чудачества, человека важного и величественного, пока не напьется пьяным до бесчувствия.

Так и было в дни строительства нового чадинского дома — праздновал хозяин свои именины. Гостей подобрал самых в городе важных и самых нужных ему по многим делам. Водка стояла в больших графинах, а запасная на особом столе в четвертях. Разговор был не в обычае — только пили, крякали и жевали. В наибольшем почете оказался соленый груздь в сметане, добрый спутник напитка, предохранитель от напрасного обжога. Мелкий рыжик уже не спасал — приходилось бы глотать его столовыми ложками. Студень прикончили сразу, из ухи лениво вылавливали куски налимьей печенки — ждали.

И вот наступил самый торжественный момент: перед хозяйским местом расчищено целое поле для именинного пирога, чарки налиты заранее, и даже кряканья не слышно. Губы и усы насухо обтерты салфетками. Человек внимательный заметил бы, что и слуги взволнованы: один на ходу лязгает зубами и едва не уронил груду собранных тарелок.

Внесли пирог четверо кухонных молодцов — рожи на подбор арестантские. Чадин охотно держал беспаспортных, живших за стол и кров, менявшихся часто, способных на всякое порученье. А набирать их советнику уголовной палаты было нетрудно. Они работали и на постройке, и по домашнему хозяйству, и по рыбному промыслу, и по лесной охоте, — как у большого помещика. А в случае провинности — расправа с ними была коротка.

Гигантский пирог двухсторонней выпечки поставили перед хозяином-именинником. Пирог покрыт стеганым настилом — чтобы сохранить жар.

Помедлив для пущего впечатления, при общем почтительном молчании, хозяин привстал, протянул руку и разом сдернул теплую покрышку. Сдернув — остолбенел, замер, покачнулся и осел в хозяйское кресло. Гости вытянули шеи — и тоже замерли, слуги попятились и скрылись за дверью.

На пироге, обширном, как могильная плита, отлично испеченном, ясно отпечаталась в самой середине Адамова голова со скрещенными костями, ниже — лестница, а по бокам крупные буквы неразборчивой надписи — читай слева направо.

Заторопился домой председатель Орлов, за ним заспешили и остальные гости. Хозяин сидел с лицом, налитым кровью, качал головой и бормотал невнятное. Достало сил отодвинуть от стола кресло, встать и ухватиться за край скатерти. Затем он повалился на пол, а на него пирог, стаканы, тарелки, грузди, рыжики и солонки с пермской солью. Никто его не поднял — и слуги и гости разбежались. Первым из кухни убежал повар, оставив в горячей русской печи намогильную чугунную плиту, на которой был выпечен именинный пирог доброму хозяину.

* * *

Вот такие страшные вещи рассказывали в городе Перми про Чадина, про его пирог и про его дом.

Сам Чадин вскорости умер, не приходя в полное сознанье. Голова тряслась, губы бормотали жалкие слова о покойниках, попавших в начинку пирога. Когда его соборовали, он отворачивал голову от креста, как будто ему совали в рот кусок пирога с Адамовой головой.

И с той поры недостроенный дом Чадина явно для всех стал заклятым и чудовищным. Неизвестно, кто запер и изнутри заложил камнями и бревнами ворота дома, куда ни один здравомыслящий человек заглянуть не решался даже днем. Впрочем, стало известным, что после смерти хозяина ранее проживавшая у него и бывшая с ним в любовной связи кикимора переселилась в новый дом и жила там, во всяком случае, до опустошившего Пермь пожара. Днем она спала, по ночам безобразничала, пугая окрестных жителей. Хорошо ее рассмотрела только упомянутая старушка; другим удавалось видеть ночью только тени гостей, пробиравшихся в дом кикиморы, где они скандалили, кричали, стучали и порой доходили до такой наглости, что пели непристойные песни.

Кое-что знал о доме кикиморы пермский полицеймейстер, но он был человеком молчаливым. Был знаменит и тем, что умел отыскивать краденое, если кража совершена у видного в городе человека, готового дать мзду за нахождение пропавших у него вещей. Ездил полицеймейстер в тарантасе, который можно было издали узнать по серой лошади, и когда проезжал мимо дома Чадина, — отворачивался, не из боязни, а из презрения к суеверию и напрасным россказням. Это был человек передовой, бесстрашный и равнодушный к смене губернаторов. Значит — не боялся и кикиморы.

Дом Чадина простоял лет пятьдесят — так никто в нем и не жил. К концу века он был куплен городским обществом, снесен до основания и на его месте выстроено здание женской гимназии. И тогда все переменилось: по ночам дом стоял молчаливо, а днем в нем раздавались веселые девичьи голоса. А гимназисты, проходя мимо этого дома, выпячивали грудь и пощипывали на губе волосяную рассаду.

Кто в Перми бывал, тот знает и гимназию, и тополевый против нее театральный сад, через который удобно ходить наискось на почту и к набережной Камы, прекрасной и полноводной русской реки, которая Волге приходится не младшей, а старшей сестрою.

ПРИЛОЖЕНИЕ

С. А. Ильин

ПЕСНЯ О НЫРОБСКОМ УЗНИКЕ

Михаил Никитич Романов, дядя первого царя из дома Романовых — Михаила Федоровича, был заточен Борисом Годуновым в селе Ныроб (Нерпа) Чердынского уезда Пермской губернии. В Ныробе он был посажен в яму в кубическую сажень, где промучился год и затем скончался. Яма эта сохранилась и до сих пор, равно как и цепи, в которых был закован бояринмученик.

Эта песня есть отзвук старинных времен,
Пересказ незатейный былого,
Пусть напомнит еще раз читателям он
Злое дело царя Годунова.
Эту песнь донесли эхо северных скал,
Завывание снежных буранов
И преданья суровой страны, где страдал
Михаил свет Никитич Романов.

МИХАИЛ НИКИТИЧ НА КУЛАЧНОМ БОЮ

На Москве на реке снаряжается бой,
Москвичей удалая забава.
Там уж взрослые люди теснятся гурьбой
И подростков приспела орава.
Все густеет толпа. Нетерпеньем горя,

Ко Кремлю обратились все лица:
Дожидают прибытия к бою царя, —
Без него начинать не годится.
Вот и царь. На привет окружающих он,
Приосанившись, делает легкий поклон
И садится, и в то же мгновенье
Знак дает начинать развлеченье.
И выходят на круг удалые бойцы,
На подбор крепыши, на подбор — молодцы,
Поделили черед меж собою,
Приступили к кулачному бою.
Вдруг толпа издала дружный, радостный крик,
Встретясь с гостем любезным и милым:
То боярин Никита Романов, старик,
Появился с сынком Михаилом.
Статен был Михаил и могутен и дюж,
Нрав веселый имел, откровенный,
Был и добр он, и щедр, и умен, а к тому ж
И лицом был красавец отменный.
И лишь только вступил он с улыбкою в круг
И приветно окрест огляделся,
Красных девиц сердечки забили: тук, тук,
И на щечках пожар загорелся...
Он не знал себе ровней в кулачном бою,
Он с веселою шуткой, со смехом
Проявлял богатырскую силу свою,
Но не думал кичиться успехом.
Всех Романовых чтили за их доброту,
За правдивость, за ум, за речей прямоту,
И издавна их род благородный
Награждался любовью народной.

БОЯРСКИЙ ПИР В ХОРОМАХ БОРИСА

Во дворцовой палате за общим столом
Царь Борис Годунов со бояры;
Виночерпии сладким заморским вином
Наполняют бокалы и чары.
По желанью царя Государев Совет,
Завершивши дневные занятья,
Приглашен был в хоромы царя на обед;
В том числе и Романовы-братья.
За трапезой вначале была тишина,
Но потом, как кончаться обеду,
Царь Борис и бояре, испивши вина,
Повели оживленно беседу.
Говорили они о волненьях в Литве,
О старинных врагах своих — шведах,
О количестве хлебных запасов в Москве,
О сибирских бескровных победах *.
Кто про что говорил — и понять мудрено,
Разговоры велись бестолково,
Но не слышалось в этом пиру ни одно
Михаила Никитича слово.
Погружен в золотые мечты, он молчал,
Допивал полегоньку свой кубок
И, казалось, еще на губах ощущал
Поцелуй нежных девичьих губок.
Вспоминалась ему многозвездная ночь,
Сад боярский, большой и тенистый,
И красавица Таня, боярская дочь,
С пышной грудью, с косой золотистой.

---

* Например, основание города Томска и других городов. (Здесь и далее примечания С. А. Ильина. — *Ред.*)

Вспоминались слова беззаветной любви,
Милых губок пленительный лепет,
От которых огонь зажигался в крови
И все тело охватывал трепет.
Вспоминалось ему, как вчера в том саду,
На условном свидания месте,
Целовал он ее, говорил, как в бреду,
Речи сладкие милой невесте.
Порешил он тогда же, что счастье свое
От людей ему нечего прятать,
Что пора в дом Танюши идти и ее
Поскорее открыто засватать...
Вдруг царев на себе он почувствовал взгляд —
Будет помнить он взгляд тот до гроба —
В этом взгляде в смешении странном горят
Зависть, ненависть, робость и злоба!
И вздрогну́л Михаил, но тотчас же Борис,
Увидав, что Романов очнулся,
На мгновенье потупил глаза свои вниз
И скорей от него отвернулся.
Для сынка своего царь опасным нашел
Михаила — любимца народа:
«Вдруг да сядет, по смерти моей, на престол
Сей юнец из Романовых рода!..»

ССЫЛКА МИХАИЛА НИКИТИЧА В с. НЫРОБ

Побежал ветерок по вершинам лесным,
И гулливо они зашумели,
Сон тайги потревожили шумом своим
Кедры, сосны, да пихты и ели.
Над серебряной лентою Колвы-реки
Возвышаются камни-громады,
С них сбегают стремительно вниз ручейки

И ревут, и бурлят водопады.
Каждый камень-гигант, словно замок какой,
Обнаженной стеною отвеса
Возвышается властно над горной рекой,
А вверху — словно шапка из леса.
Ранним утром, плывя по реке, погляди
На извилины верхнего плеса:
Облака там ночуют на мощной груди,
На груди великана-утеса.
Вот одно, отделившись, по небу плывет,
Словно чайка в лазоревом море,
И как будто прощанье последнее шлет,
Исчезая в небесном просторе.
В темных дебрях тайги много зверя живет:
Волки, белки, медведи, куницы;
Много водится дичи различных пород;
Есть залетные певчие птицы.
Перед зимней порой на вершине скалы,
На условленном ранее месте,
С гор соседних слетев, собирались орлы,
Чтобы выслушать ворона вести.
Черный ворон сказал, что летал прошлый день
Он туда, где издох коеводни * олень,
Думал тушу оленью проведать,
Чтобы падалью той пообедать.
И когда пролетал он лесную тропу,
Что от чердынских весей ведет на Нерпу **,
То по ней подвигалися люди —
Не сродни ни вогулам, ни чуди.
Незнакомые люди! На конях верхом,
По тропе, и для пешего трудной,

---

* На днях.

** Нерпа-Нырпа-Ныроб — так же, как Парма-Перма-Пермь.

Пробирались они шаг за шагом, гуськом,
Провожая возок многопудный.
Тот тяжелый возок чуть не шесть лошадей
Волокли по болотному илу;
Утомленье сковало и их, и людей,
И плелися они через силу.
И начальник отряда, и слуги его
Все в московское, слышь ты, одеты шитво:
Не в оленьи тюни, не в лузаны,
А в пимы из шерсти да в кафтаны.
Нашим ныробцам также они не сродни:
Их оружье — пищаль и секира,
Словом, все указует на то, что они —
Пришлецы из далекого мира.
Старый ворон добавил, окончив рассказ,
Что решил он с сынками своими
Не спускать с этих пришлых людей своих глаз
И следить потаенно за ними.

ЗАТОЧЕНИЕ БОЯРИНА В ЯМУ

Ныробчане, узнавши в пришедших стрельцов,
Поспешили в домах затвориться,
Но начальник отряда послал к ним гонцов
С приказаньем немедля явиться.
Ныробчане, страшась отказаться, пришли.
— Здесь, — сказал им начальник отряда,
Указуя на рыхлый участок земли, —
Вырыть яму глубокую надо.
Не ослушались робкие люди и тут,
Каждый вынес из собственной хаты,
Что имел он: железный брусок или прут,
Заостренные колья, лопаты.
Заработали. Каждый до нитки промок,

Подневольным трудом утомленный,
И на близко стоявший секретный возок
Робко взгляд устремлял изумленный.
Вот уж яма готова, размером в сажень...
Солнце спряталось. Стало морозно.
По земле пробежала вечерняя тень,
Небеса принахмурились грозно.
Молча ныробцы ждут: что-то будет теперь...
Вдруг, по знаку старшого, стрельцами
У возка отворилась дубовая дверь,
Запертая двойными замками.
Все дышать перестали: осилил их страх,
Превратил в неподвижных чурбанов;
Из возка же выходит, закован в цепях,
Михаил свет Никитич Романов!
Взор отвагой горит; на младое чело
Роковою печатью раздумье легло;
На губах обозначилась складкой
Горечь думы о жизни несладкой.
Оглядевшись вокруг, он на яму взглянул
И насупил суровые брови,
И в очах его гнев грозным светом блеснул,
Руки сжались до боли, до крови.
А начальник отряда, с усмешкою злой,
Низко кланяясь, вымолвил слово:
«Просим милости в яму, наш гость дорогой,
Вот тебе и хоромы готовы».
Не стерпел богатырь. Он возок оттолкнул,
Отшвырнул чуть не на три сажени,
Но, забыв кандалы, слишком быстро шагнул
И, споткнувшись, упал на колени.
И тогда пять стрельцов подбежали к нему,
Десять рук его стан обхватили
И боярина в яму, в сырую тюрьму,
По приказу старшого спустили.

СОСТРАДАНИЕ К УЗНИКУ СО СТОРОНЫ НЫРОБЦЕВ

Все стрельцы и главарь их по избам сидят,
Балагурят, хозяйскую пищу едят,
Пьют вино без просыпу с похмелья,
Обалдев от тоски и безделья.
Возле ямы, где ныробский узник сидит,
Никого из стрельцов на часах не стоит,
В деревушке пустынно, как в поле,
Только детки резвятся на воле.
Вот один мальчуган, оглянувшись кругом,
К яме, плахами крытой, помчался бегом,
Еще раз зорко вкруг оглянулся
И к отверстию ямы нагнулся.
— Жив ли, дяденька? — детский звенел голосок:
— Вот-те дудочка — в ней молочишко,
— Вот-те шаньга* да ситного хлеба кусок...
Будь здоров, — распрощался мальчишка
И к своим побежал. А минутку спустя
Очутилось у ямы другое дитя,
Очутилась девчушка Анютка;
У нее — тоже шаньга и дудка.
— На-тко, дядя, имай! ** Чай, не баско тебе?
Чижало, чай, в затворе живется?
А стрельцы, слышь, пируют у Носа в избе,
Все пьяны: кто поет, кто дерется.
Ты ведь, бают, святой. Может, любишь цветы?
Погоди-тко, ужо в твою ямку
Я спущу и цветочков и ягод, а ты
Помолись за меня и за мамку.

---

[*] Шаньга — хлебная лепешка с открытой начинкой, например из творога.

[**] Имай — лови.

Жадно слушал страдалец ребячьи слова
Из холодной и мрачной темницы.
В них ему рисовалась небес синева,
Солнца блеск, облаков вереницы
И земля, прославлявшая Господа сил
За простор, за приволье природы.
И заплакал тогда, зарыдал Михаил
В первый раз по лишеньи свободы.
И от скорбных, из сердца излившихся слез
Утихала на сердце тревога,
И впервые смиренно молитву вознес
Он к престолу всевышнего Бога.

ЖИЗНЬ УЗНИКА В ЯМЕ

С той поры он предался молитвам своим,
Все земные отринул печали
И душой умилялся, как только над ним
Голоса ребятишек звучали.
Дни идут. Вот уж год миновал чередой,
Как боярин находится в яме:
Не удалый боец, богатырь молодой,
А старик изможденный пред нами!
Уж не слышно над ямою детских речей,
Не глядит в нее детское око:
Подсмотрели стрельцы подаянья детей
И ребят наказали жестоко.
Пропитание узника — хлеб и вода.
Летом яму его не топили,
А когда наступили зимы холода,
То для печки дровец отпустили.
От печурки плохой вьется синий дымок
И в продушину кверху стремится...
Заключенный телесно давно изнемог,
В силах он лишь усердно молиться.

МОЛИТВА БОЯРИНА

«Боже правый, Господь милосердный, спаси
Нашу Русь и ея человеки.
Повели, чтобы мир на святой на Руси
Воцарился отныне вовеки.
Повели, чтобы доблестный русский наш люд
Отдохнул и от войн и от внутренних смут,
Чтобы он, позабывши невзгоды,
Встретил зорю грядущей свободы.
Да цветет наше царство грозою врагов,
Год от году пышней расцветая,
Да пребудет в нем твердо на веки веков
Насажденная вера святая!
Да войдет она в плоть русским людям и в кровь,
Научая их только благому,
Да внушит она преданность им и любовь
К Богу, к родине, к царскому дому».

СНОВИДЕНИЕ

Долго к небу мольбы воссылал Михаил,
Наконец крепкий сон ему очи смежил,
И во сне том в тюрьме его тесной
Появился посланец небесный.
И сказал небожитель ему: «Михаил,
Не напрасно у Господа Бога молил
Ты без ропота, без укоризны
Ниспослания благ для отчизны.
Днесь умрешь ты, но светел твой будет конец:
Знай, достанется царский российский венец
Через несколько лет не иному,
Как Романовых славному дому;
Знай, потомки твои, занимая престол,
Понастроют дорог, заведут сети школ,

И Россия покроется славой,
Ставши первою в мире державой.
О тебе ж, Михаил, о мученьях твоих
Не забудут веков поколенья,
Прослывешь ты святым святотерпцем у них
За напрасные злые мученья.
И стечется сюда много, много людей,
В это место преславной кончины твоей,
Чтоб с молитвой к тебе обратиться,
Чтоб к железным цепям приложиться.
И взыграет над Русью свободы заря,
И оценит народ ту свободу.
И полюбит, полюбит всем сердцем царя
Из Романовых славного роду»...

КОНЧИНА МИХАИЛА НИКИТИЧА

Ангел скрылся. Наутро, поднявшись с земли,
Сновидение вспомнил боярин,
И терзания прочь от него отошли,
Взор же радостен стал, лучезарен.
И в горячей молитве возвел Михаил
К небесам ослабевшие руки
И, заплакавши, Господа благодарил
За свои невыносные муки,
За всевышнюю милость отчизне родной,
Изнемогшей от смут и обманов...
А к полудню почил, кончив путь свой земной,
Михаил свет Никитич Романов.

ЭПИЛОГ

Вот настал и конец грустным песни словам.
На прощанье, чтоб что не забылось,

Остается поведать, читатели, вам,
Что с пригожею Таней случилось.
Услыхавши, что стал удалой богатырь
Жертвой злобы царя Годунова,
Загрустила Танюша, ушла в монастырь,
Отрешилась от мира земного.
А когда донеслася молва до нее,
Что боярин окончил земное житье,
Таня схиму святую прияла
И навечно затворницей стала.
А над тою могилой, куда унесли
И зарыли где прах Михаила,
Два могучие кедра с годами взросли,
Чтоб была поприметней могила.
И стремится сюда православный народ
Помолиться в воздвигнутом храме
За царя и за славный Романовых род.
И идут богомольцы к той яме,
Где томился во хладе и тьме Михаил,
Где он год находился и в бозе почил,
К этой издревле чтимой святыне,
Над которой часовенка ныне.

ПРИМЕЧАНИЯ

Тексты произведений М. А. Осоргина печатаются по его прижизненным книгам, а также по публикациям в газетах «Последние новости» (Париж), «Дни» (Берлин) и сборнике «На чужой стороне» (Берлин; Прага). В текстах соблюдаются особенности авторской орфографии и пунктуации. Основное мемуарное произведение М. А. Осоргина, «Времена», не включено в данную книгу, поскольку уже достаточно знакомо уральскому читателю: оно напечатано в журнале «Уральский следопыт» (1989, № 1—4) и вошло в состав одноименного сборника избранной прозы М. А. Осоргина, вышедшего в издательстве «Современник» (М., 1989).

Составитель выражает искреннюю благодарность Татьяне Алексеевне Бакуниной-Осоргиной (Париж) и Маргарите Алексеевне Красюк (Москва) за предоставление печатных и изобразительных материалов и помощь в работе, а также Дмитрию Архиповичу Краснoперову (Пермь) за ценные сведения краеведческого характера. В комментариях частично использованы разыскания О. Ю. Авдеевой (Москва).

ЗЕМЛЯ

Впервые: Последние новости, 1929, 1 сентября, № 3084; 7 сентября, № 3090. Публикуется по кн.: Осоргин Мих. Чудо на озере. — Париж, 1931.

[1] «Ибо прах ты — и в прах обратишься» — Библия. Книга Екклесиаста, или Проповедника. Гл. 12, ст. 7.

[2] Бархатная книга — родословная книга знатных русских боярских и дворянских фамилий. Составлена в 1687 г.

[3] Правильнее: «Хребтом Черского...» — в честь исследователя Восточной Сибири И. Д. Черского (1845—1892).

[4] Мадонна Доленте... — доленте — плачевно, жалобно (ит.).

[5] Имеется в виду профессор Московского университета, археолог и историк права Д. Я. Самоквасов (1843—1911).

ПОРТРЕТ МАТЕРИ

Впервые: Последние новости, 1927, 12 сентября, № 2364. Публикуется по кн.: Осоргин Мих. Вещи человека. — Париж, 1929.

[1] Окончила без шифра... — шифр — знак отличия, резной вензель государыни, который получали ученицы при успешном окончании Института благородных девиц.

[2] Имеются в виду «Пермские губернские ведомости».

ДНЕВНИК ОТЦА

Впервые: Последние новости, 1927, 16 октября, № 2398. Публикуется по кн.: Осоргин Мих. Вещи человека. — Париж, 1929.

СЕСТРА

Впервые: Последние новости, 1928, 15 декабря, № 2824; 16 декабря, № 2825.

Героиня воспоминаний — старшая сестра автора, Ольга Андреевна Ильина (в замужестве, Разевиг).

[1] Гирши, Палаши, Романовка — московские кварталы, где любили селиться студенты.

КУЗИНЫ

Впервые: Последние новости, 1933, 20 февраля, № 4352; 21 февраля, № 4353.

[1] Имеется в виду книга: Качулова О. Робинзон в русском лесу: Рассказ для детей. — Спб., 1881 (4-е изд. — 1900 г.). Об этой книге М. А. Осоргин часто и с восторгом вспоминал в своей мемуарной прозе.

[2] Высокий сановник — это Александр Дмитриевич Цюрупа (1870—1928), советский государственный и партийный деятель, с 1918 г. — нарком продовольствия. С А. Д. Цюрупой М. А. Осоргин встречался осенью 1916 г., когда прибыл в Уфу из Перми (см. его этюд

«По городам»: Последние новости, 1933, 24 сентября, № 4568).

[3] Книга английского историка и социолога Генри Томаса Бокля (1821—1862) «История цивилизации в Англии» пользовалась большой популярностью среди русской интеллигенции.

[4] В петербургском «Журнале для всех» (1896, № 5) был напечатан первый рассказ М. А. Осоргина «Отец» (под псевдонимом М. Пермяк). Редактором-издателем тогда был Д. А. Геник.

КАМА

Впервые: Последние новости, 1927, 4 октября, № 2386. Публикуется по кн.: Осоргин Мих. Там, где был счастлив. — Париж, 1928.

ЕГОШИХА

Впервые: Последние новости, 1927, 9 октября, № 2391. Публикуется по кн.: Осоргин Мих. Там, где был счастлив. — Париж, 1928.

В основу сюжета положено реальное происшествие.

[1] Пила и Сысойка — герои повести Ф. М. Решетникова «Подлиповцы» (1864), изображающей жизнь Пермской губернии.

В ЮНОСТИ

Впервые: Последние новости, 1930, 20 апреля, № 3315. Печатается по кн.: Осоргин Мих. Чудо на озере. — Париж, 1931.

[1] В публикуемом ниже этюде «Пятерка» М. А. Осоргин называет своего гимназического приятеля Володей Шаровым, а в книге ««Времена» — Володей Ширяевым.

ПЯТЕРКА

Впервые: Последние новости, 1937, 11 января, № 5771.

[1] В 1890-х гг. начальником Пермского губернского жандармского управления был полковник К. И. Широ-

ков (см.: Адрес-календарь Пермской губернии на 1899 г.).

[2] Об этом подробнее см. ниже, в этюде «Про Бабушку».

ПОЭТ

Впервые: Дни, 1927, 9 октября, № 1201. Публикуется по кн.: Осоргин Мих. Там, где был счастлив. — Париж, 1928.

О М. А. Афанасьеве М. А. Осоргин вспоминает также в этюде «Известные по качеству» (см. ниже).

КАТЕНЬКА

Впервые: Последние новости, 1928, 15 апреля, № 2580. Публикуется по кн.: Осоргин Мих. Там, где был счастлив. — Париж, 1928.

ОТЕЦ ЯКОВ

Впервые: На чужой стороне: Историко-литературный сборник, 1923, кн. 2.

Героем этого очерка является провинциальный издатель, публицист, краевед, библиограф Яков (Иаков) Васильевич Шестаков (1870—1919), выступавший под псевдонимами: Я. Камасинский, Яков Камасинский, Странник-Пермяк (были, видимо, и другие). Он активно сотрудничал в газетах «Пермские губернские ведомости», «Уральская жизнь», «Уральские ведомости» и др., выпустил множество брошюр. Я. В. Шестаков окончил Пермскую духовную семинарию, позднее был лишен прихода, организовал несколько мелких издательств, в частности издательство «Кама» в Сарапуле (ныне Удмуртия). Убит красными в Перми. Фигура Я. В. Шестакова, безусловно, заслуживает внимания краеведов, воспоминания М. А. Осоргина могут в этом смысле оказаться полезными. Я. В. Шестаков упоминается также в этюде М. А. Осоргина «Лубочники» (Последние новости, 1938, 4 августа, № 6339).

[1] Речь идет о «Пермских губернских ведомостях».

[2] Издательство называлось «Жизнь и правда», М. А. Осоргин выпустил в нем три книжечки (1904).

См.: Михаил Андреевич Осоргин. Библиография / Сост. Н. В. Бармаш, Д. М. Фини, Т. А. Осоргина. — Париж, 1973. — (Ин-т славистики).

[3] В этюде «Лубочники» М. А. Осоргин именует издателя И. И. Фоминым, добавляя, что немножко изменяет фамилию.

[4] Петровцы — студенты, обучавшиеся в подмосковной Петровской земледельческой академии.

[5] Один крупный террорист... — член боевой организации партии социалистов-революционеров (эсеров) Петр Александрович Куликовский.

[6] П. А. Куликовскому посвящен очерк М. А. Осоргина «Николай Иваныч» (На чужой стороне, 1923, кн. 3).

ПРО БАБУШКУ

Впервые: Последние новости, 1929, 17 февраля, № 2888.

[1] Генерал-лейтенант Дмитрий Гаврилович Арсеньев был пермским губернатором с 1897 г.

[2] Не совсем точная цитата из стихов Н. А. Некрасова, посвященных В. Г. Белинскому («Сцены из лирической комедии ««Медвежья охота»).

[3] О Н. В. Мешкове см.: Рабинович Р. И. Опальный миллионер. — Пермь, 1990.

[4] Речь идет о Екатерине Константиновне Брешко-Брешковской (1844—1934), участнице революционного движения с начала 1870-х гг. Она вошла в историю как «бабушка русской революции».

[5] В 1929 г. Е. К. Брешко-Брешковской исполнилось 85 лет.

ПРОХОДЯЩИЕ МИМО

Впервые: Последние новости, 1929, 10 ноября, № 3154.

Некоторые из героев этого этюда (а также жандармский генерал из «Пятерки») появятся также в другом этюде М. А. Осоргина — «Марионетки» (см. ниже).

[1] Имеются в виду «Пермские губернские ведомости».

[2] Возможно, это был статистик пермского земства Дмитрий Михайлович Бобылев (1869—1930-е гг.), постоянный автор статистических сборников пермского края, признанных образцовыми в России.

«ИЗВЕСТНЫЕ ПО КАЧЕСТВУ»

Впервые: Последние новости, 1934, 7 января, № 4673.

О героях этого этюда, бароне Зальца и М. П. Керен, имеются упоминания и в книге М. А. Осоргина ««Времена».

[1] Марья Дмитриевна Ахросимова — героиня романа Л. Н. Толстого «Война и мир».

[2] Корнель, Пьер (1606—1684) — знаменитый французский драматург.

[3] М. А. Осоргин здесь ошибся: писатель Н. Н. Ляшко родился в г. Лебединь Харьковской губернии, а не в г. Лебедянь Тамбовской губернии, где действительно родился Е. И. Замятин.

МАРИОНЕТКИ

Впервые: Последние новости, 1933, 28 мая, № 4449.

[1] О В. Подрекка см. также заметки М. А. Осоргина в «Русских ведомостях» (1914, 28 февраля, № 49) и «Последних новостях» (1929, 14 декабря, № 3188; 1938, 13 августа, № 6348).

ПЬЯНОБОРСКИЕ РАКИ

Впервые: Последние новости, 1930, 9 марта, № 3273.

[1] Лимитрофы — совокупное название прибалтийских стран, образовавшихся из территорий бывшей Российской империи после 1917 г.

ПИРОГ С АДАМОВОЙ ГОЛОВОЮ

Впервые: Последние новости, 1934, 23 июля, № 4869. Публикуется по кн.: Осоргин Мих. Повесть о некоей девице. — Таллинн, 1938.

В тексте рассказа фамилия героя напечатана двояко: то Чадин, то Чудин. Мы унифицировали написание.

ПРИЛОЖЕНИЕ

С. А. Ильин. Песня о ныробском узнике.

Впервые (в сокращении): Уральский следопыт, 1990, № 7.

СОДЕРЖАНИЕ

Олег Ласунский. КРЕСТНИК КАМЫ 5
ЗЕМЛЯ 33
ПОРТРЕТ МАТЕРИ 59
ДНЕВНИК ОТЦА 69
СЕСТРА 85
КУЗИНЫ 114
КАМА 130
ЕГОШИХА 140
В ЮНОСТИ 147
ПЯТЕРКА 163
ПОЭТ 171
КАТЕНЬКА 183
ОТЕЦ ЯКОВ 194
ПРО БАБУШКУ 209
ПРОХОДЯЩИЕ МИМО 219
«ИЗВЕСТНЫЕ ПО КАЧЕСТВУ» . . . 227
МАРИОНЕТКИ 235
ПЬЯНОБОРСКИЕ РАКИ. Рассказ . . 244
ПИРОГ С АДАМОВОЙ ГОЛОВОЮ. Рассказ 258

Приложение

С. А. Ильин ПЕСНЯ О НЫРОБСКОМ УЗНИКЕ 267
Примечания 279

Литературно-художественное издание

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ ПРИКАМЬЯ

Михаил Андреевич
Осоргин

МЕМУАРНАЯ ПРОЗА

Редактор *Т. Ключарева*
Оформление *Е. Нестерова*
Художественный редактор *В. Сушинцев*
Технический редактор *В. Чувашов*
Корректор *Л. Крамаренко*

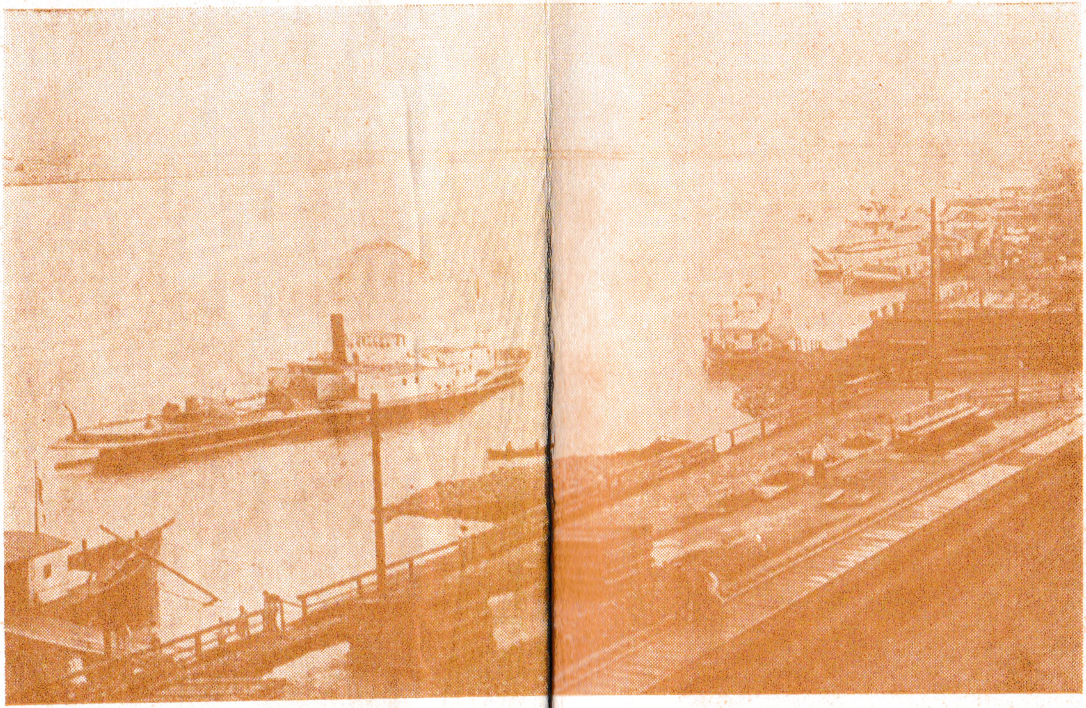
ИБ № 2149
Сдано в набор 05. 12. 91. Подписано в печать 18. 03. 92. Формат 70×90¹/₃₂. Бум. офс. кн. ж. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 10,53. Усл. кр.-отт. 10,68. Уч.-изд. л. 10,266. Тираж 5 000 экз. Заказ 663. С-17.
Издательство «Пермская книга» 614000, г. Пермь, ул. К. Маркса, 30. МП «Книга» 614001, г. Пермь, ул. Коммунистическая, 57.

О75 **Осоргин Мих.**

Мемуарная проза / Сост., вступ. ст. и примеч. О. Г. Ласунского; Худож. Е. И. Нестеров. — Пермь: Пермская книга, 1992. — 285 с. — (Литературные памятники Прикамья).

ISBN 5-7625-0184-1

Очередной выпуск серии составляют произведения М. А. Осоргина — крупнейшего представителя русского литературного зарубежья.

О $\frac{4702010101-17}{\text{М}152(03)-92}$ 19—92 ББК 84.Р1—4